

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

МАЛЮТА
СКУРАТОВ

Николай Гейнце
Малюта Скуратов

«Public Domain»

1891

Гейнце Н. Э.

Малюта Скуратов / Н. Э. Гейнце — «Public Domain», 1891

«Был десятый час вечера 16 января 1569 года. На дворе стояла непроглядная темень. Свинцовые тучи сплошь заволакивали небо и, казалось, низко-низко висели над главами монастырей и церквей московского кремля. Шел частый мелкий снег, а порывы резкого ветра поднимали его с земли, не дав улечься, и с силой крутили в воздухе, готовые ослепить каждого смельчака, решившегося бы выглянуть в такую ночь за дверь своего дома. Подобного смельчака, впрочем, и не было: как кремль, так и местность, его окружающая, известная под именем Китай-города, были совершенно пустынно, и на первый взгляд можно было подумать, что находишься в совершенно безлюдном месте, и лишь слышавшийся отдаленный или, быть может, разносимый ветром лай собак давал понять, что кругом есть жилища живых, но спящих или притаившихся обывателей...»

© Гейнце Н. Э., 1891

© Public Domain, 1891

Содержание

Часть первая	5
I. На лобном месте	5
II. В царских палатах	9
III. Малюта Скуратов	12
IV. Детство и юность Иоанна IV	15
V. В осиротелой Москве	19
VI. В хоромы князя Василия	22
VII. Слободские вести	25
VIII. Подкидыш	29
IX. Сон Якова Потапова	32
X. В опочивальне княжны Евпраксии	35
XI. Первая бессонная ночь	38
XII. Любовь сенной девушки	41
XIII. На берегу Москвы-реки	45
XIV. Начало опричнины	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Николай Гейнце Малюта Скуратов

Часть первая Любовь опричника

І. На лобном месте

Был десятый час вечера 16 января 1569 года.

На дворе стояла непроглядная темень. Свинцовые тучи сплошь заволакивали небо и, казалось, низко-низко висели над главами монастырей и церквей московского кремля.

Шел частый мелкий снег, а порывы резкого ветра поднимали его с земли, не дав улечься, и с силой крутили в воздухе, готовые ослепить каждого смельчака, решившегося бы выглянуть в такую ночь за дверь своего дома. Подобного смельчака, впрочем, и не было: как кремль, так и местность, его окружающая, известная под именем Китай-города, были совершенно пустынно, и на первый взгляд можно было подумать, что находишься в совершенно безлюдном месте, и лишь слышавшийся отдаленный или, быть может, разносимый ветром лай собак давал понять, что кругом есть жилища живых, но спящих или притаившихся обывателей.

Необходимо заметить, что в то время, к которому относится наш правдивый рассказ, даже и в хорошую погоду Москва казалась безлюдной.

Не мудрено, что в поздний вечер и в такую адскую погоду город был похож на пустыню.

Белокаменная, каковою в то время она далеко не была, так как большинство теремов боярских были деревянные, подлый же народ – так назывались тогда простые, бедные люди – ютился в лачугах и хижинах, переживала в это время, вместе со всею Русью, тяжелые годы.

Царь и великий князь всея Руси Иоанн Васильевич покинул столицу и жил в Александровской слободе, окруженный «новым боярством», как гордо именовали себя приближенные государя – опричники, сподвижники его в пирах и покаянных молитвах, резко сменяющихся одни другими, и ревностные помощники в деле справедливой, по его мнению, расправы с «старым боярством».

Объятый ужасом при зрелище ежедневных казней, народ притаился и притих: каждый старался сплотиться в своей семье, укрыться от начальства, чтобы подчас неповинно не потерпеть в продолжающейся общей кровавой расправе. Никому не было ни до дел, ни до гульбищ.

Потому-то город и казался пустынным, начиная с восьми, много с девяти часов вечера, всюду уже тушили огни и ни одна живая душа не показывалась на улице.

Менее всего можно было ожидать встретить кого-нибудь в описываемый нами вечер 16 января, когда на дворе стояла такая погода, в которую, как говорится, хороший хозяин и собаки за ворота не выпустит.

Рассчитывая, вероятно, на это, но все же озираясь пугливо по сторонам и чутко прислушиваясь к едва слышному за разгулявшейся всюю вьюгой, скрипу собственных шагов, со льда Москвы-реки поднимались три пешехода, одетые в черные охабни, в высоких меховых шапках на головах, глубоко надвинутых на самые глаза, так что лиц их, закрытых еще приподнятыми воротниками, различить не было возможности. По походке и фигурам можно было только заключить, что один из них, шедший порою впереди, был моложе двух остальных и казался их начальником или руководителем.

– Ну, уж и погоду Бог дал! – глухим голосом произнес один из пешеходов.

– Оно и лучше, по крайности безопаснее, – заметил другой.

– Тсс! – остановил молодой разговорившихся было своих спутников.

В этом сказанном им «тсс!» прозвучало нечто властное.

Незнакомцы наши, той же неторопливой, крадущейся походкой шли вдоль кремлевской стены, мимо собора Богоматери, по направлению к лобному месту.

Лобным местом называлась площадь, где казнили преступников, где они теряли головы (лоб); она находилась в Китай-городе, тотчас же за кремлевской стеной, между двух ворот московской твердыни – Никольскими и Спасскими. В настоящее время на этой площадке воздвигнут памятник князю Пожарскому и Кузьме Минину-Сухорукову.

В описываемую нами эпоху лобное место было днем самым оживленным в городе. Это место смерти более всего проявляло жизни, так как без казни не проходило ни одного дня, и приспособления к ней, в виде громадного эшафота, виселицы и костров, так и не убирались с площади, в ожидании новых и новых жертв человеческого правосудия и уголовной политики.

Смертной казнью наказывались: богохульники, еретики, соблазнитель к чужой вере, государственные изменники, делатели фальшивых бумаг и монет, убийцы и зажигатели, церковные тати, обыкновенные воры, попавшиеся в третий раз, и уличные грабители, пойманные во второй раз. Отсечение головы было уделом большинства преступников; немногие попадали на виселицу.

Костер служил для казни еретиков и зажигателей. Делателям фальшивых монет вливали в рот растопленный свинец. Муже – и женоубийцы зарывались по шею в землю.

Богатство могло спасти многих преступников от наказаний, но не спасало государственных изменников.

Малейшее подозрение было достаточным основанием для предания суду, то есть пытки, что было одно и то же.

Орудиями пытки были, обыкновенно, палки и кнут; кроме того, пытаемого жгли раскаленным железом, рвали раскаленными щипцами или, привязав к столбу, поворачивали на медленном огне.

Важнейших преступников за шесть недель до казни заключали в нетопленые темницы, а еретиков сжигали, после троекратного увещания к раскаянию.

Смертные приговоры над государственными преступниками, которые в то время назывались общим именем «изменников», исполнялись вместе с другими ворами и убийцами, в один и тот же день, на одной и той же плахе или виселице.

Преступников, казненных через повешение, оставляли на виселице до раннего утра следующего за казнью дня, и вид этих висящих тел, в белых саванах, казался для тогдашних исполнителей закона лучшим средством к обузданию злой человеческой воли, в силу господствовавшей тогда в законодательстве теории устрашения: «дабы другим не повадно было».

День 16 января 1569 года тоже не обошелся без казни, хотя при этом, по распоряжению самого царя, не было пролито крови, так как день этот был годовщиной венчания его на царство.

Всех четверых приговоренных повесили, и самая казнь была совершена не ранним утром, как было обыкновенно, а после поздней обедни, затянувшейся далеко за полдень по случаю торжественного дня.

Трупы казненных, колеблемые порывами ветра, мерно покачивались на виселице, когда к ней подошли наши, не побоявшиеся непогоды, путники.

Это страшное орудие казни и было, оказалось, целью их таинственного путешествия.

Все трое осторожно поднялись по обледелым ступеням и остановились на подмостках, почти около качающихся тел.

– Который? – хриплым шепотом произнес тот, который начал несвоевременный разговор еще на берегу реки.

– Крайний слева... – также тихо ответил молодой.

Спросивший обратился к третьему:

– Никитич, разыщи-ка чурбан.

Названный Никитичем наклонился и начал шарить руками по настилке подмосток, пока не нащупал большой деревянный чурбан, подставляемый палачом под ноги преступников во время накладывания им на шею петли и выбиваемый затем из-под их ног.

Чурбан, оказалось, стоял под последним висельником, который и упирался в него ногами.

За господствовавшей темнотой этого сначала не заметили.

Никитич сообщил о своем открытии.

– Так оно и должно было быть! – прошептал молодой. – Наш-то был казнен последним, когда уже совсем стемнело... – стал припоминать он события истекшего дня.

Никитич, с помощью своего сотоварища, по знаку, сделанному молодым, и переданному им шепотом приказанию, взобрался на чурбан и довольно быстро снял петлю с шеи повешенного, которого молодой, обладавший, видимо, недюжинной силой, приподнял за ноги.

Когда петля была сброшена, тело приняли на руки стоявшие внизу, а Никитич осторожно спустился с чурбана.

Затем с висельника сняли саван, и тот, который, как видно, руководил этим загадочным предприятием, сбросил с себя охабень и остался в одном кафтане.

– Несите осторожнее, – сказал он своим товарищам, – а княжне от меня земной поклон! Да скажите ей, что совета и любви желает ей Яков Потапов.

Голос говорившего дрогнул, и в нем послышались худо скрываемые слезы.

– А разве ты не с нами, Яков Потапович? – недоумевающим голосом спросил Никитич.

– Нет, мне другая дорога! – с горечью усмехнулся молодой.

– А как на заре могильщики придут убирать их, – кивнул в сторону висевших тел другой, ан четвертого и нет, – пойдут сыски да розыски, до княжны да до нас доберутся... Не быть бы беде, горше нынешней...

– Небось, не доберутся, – глухо ответил Яков Потапович, – не твоя забота: на себя я все дело взял, а меня, чай, знаешь, в слове крепок, никого под ответ не подведу, для того и остаюсь здесь...

– Здесь? – испуганно спросил, вступив в разговор, другой.

– А то где же? – оборвал его Яков Потапович. – Однако не теряйте времени, несите с Богом, – заключил он, указав рукою на завернутое в охабень тело снятого висельника.

Оба его спутника послушно и молча приподняли свою страшную ношу и стали спускаться с ней по ступеням подмосток.

Яков Потапович зорко следил за их малейшими движениями и не спускал глаз с удалявшихся, пока они не скрылись в непроглядной темноте снежной ночи. Шум их шагов еще некоторое время доносился до него, и он жадно прислушивался к ним, и только когда, кроме завывания вьюги, ничего не стало слышно, снял шапку и истово перекрестился в сторону едва различаемой громады собора Богоматери, ныне известного под именем Василия Блаженного, затем огляделся кругом, провел рукой по волосам, уже смоченным снегом, и, опустившись на колени на подмостках виселицы, под мерно раскачивающимися трупами, стал молиться.

Приехавшие на рассвете могильщики сняли с виселицы четыре трупа и, уложив их в сколоченные из досок некрашенные гробы, повезли на кладбище, где и зарыли в приготовленные неглубокие могилы.

Город был все так же пустынен, и телегу с четырьмя гробами провожал лишь какой-то юродивый, которых в столице было много в те тяжелые времена, и народ любил и уважал их, как «людей Божиих», боязливо прислушиваясь к их предсказаниям в надежде на лучшее будущее.

Двое приехавших на лобное место могильщиков тоже не воспрепятствовали Божьему человеку не только сопутствовать им, но даже помогать снять трупы казненных и уложить их в гробы.

– Видно, кто-нибудь из них мученическую кончину принял! – рассуждали шепотом они про казненных, видя, как усердно помогает им «Божий человек» в их печальной работе.

II. В царских палатах

Царь Иоанн Васильевич сидел в одной из кремлевских палат, рядом с опочивальней, и играл, по обыкновению, перед отходом ко сну, в шахматы с любимцем своим, князем Афанасием Вяземским.

Последний был видный мужчина, с умным выражением правильного, чисто русского лица, с волнистыми темно-каштановыми волосами на голове и небольшой окладистой бородкой.

Сам царь был тоже высок, строен и широкоплеч, в длинной парчовой одежде, испещренной узорами и окаймленной вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими камнями. В это время Иоанну было от роду тридцать девять лет, но на вид он казался гораздо старше.

Он только что выслушал перед тем доклад Малюты Скуратова о сегодняшней казни, и время, оставшееся до отхода ко сну, посвятил своей любимой игре.

Царь был в Москве 16 января 1569 года лишь потому, что, как мы уже знаем, в этот день была годовщина его венчания на царство, и утомленный почти целый день не прерывающимся по этому случаю богослужением, отложил свой отъезд в Александровскую слободу до утра следующего дня.

В этот день сам он не присутствовал на казни, но все же сделал распоряжение, чтобы перед сном к нему явился игумен Чудова монастыря Левкий для духовной успокоительной беседы, потребность в которой грозный царь чувствовал всегда в день совершенной по его повелению казни.

Афанасий Вяземский угождал царю при всяком его настроении, изучив слабые струны его души, и теперь, несмотря на то, что, отлично играя в шахматы, знал всегда все замыслы своего противника, умышленно делал неправильные ходы и проигрывал партию за партией. Царь пришел почти в веселое расположение духа.

Он любил чувствовать даже в мелочах надо всеми свое превосходство, и горе было бы царедворцу, осмелившемуся обыграть царя. Несчастный дорого бы мог поплатиться за этот выигрыш и, пожалуй, проиграть жизнь.

– Шах и мат! – воскликнул царь. – Ну, Афоня, тебе что-то не везет со мной.

– Помилуй, государь, я хотя и считаюсь лучшим игроком на Руси, но как ни бьюсь и не вдумываюсь в игру, никак не могу постигнуть твоих ходов. Кажется, вот совсем умно рассчитаешь, а потом и попадешься.

Иоанн самодовольно улыбался, поглаживая рукой свою бороду, затем откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

Вяземский сидел не шевелясь, чтобы не нарушить царственного молчания.

– Да, Афоня, – ласково начал Иоанн, открывая глаза, – ты молвил сейчас, что не понимаешь моей игры, но едва ли вы все можете проникнуть в мои намерения и в государственных делах. Меня называют тираном, но есть ли в этом правда?..

– Кто осмеливается, великий государь, говорить это. Разве только тот, кто не любит своей земли.

– Истинно, истинно рек! – с одушевлением воскликнул царь. – Что было в нашем царстве в мое малолетство? Ведомо ведь и тебе, что оно запустело от края до края, а я лишь стараюсь искоренить тому причину.

– Одно можно молвить, государь, что там, где рыскали прежде дикие звери и были безлюдны пустыни, теперь цветут села и города.

– Я всегда следовал и до конца бранных дней моей трудной жизни буду держаться правила, что горе тому дому, где владевает жена, горе царству, коим повелевают многие. Вер-

ных моих слуг я люблю, караю только изменников. Для всех я тружусь день и ночь, проливаю слезы и пот, видя зло, которое и хочу искоренить.

Царь глубоко вздохнул, снова закрыл глаза и впал как бы в забытье.

В его пламенном воображении стали проноситься одна за другой картины будущего величия России. Он видел сильное войско и могучие флоты, разъезжающие по всем морям под русским флагом и развозящие русские товары. Воображались ему приморские гавани, кишачие торговой деятельностью, русские люди, живущие в довольстве, даже в изобилии. Представлялись ему нелицеприятные судьи и суды, – везде общая безопасность и спокойствие.

Очнувшись, царь взял стоявший около него посох и стал большими шагами ходить по комнате.

В это время тихо отворилась дверь и в палату вошел стольник царя Борис Федорович Годунов.

Это был красивый юноша, сильный брюнет, с умным лицом, на котором читались твердость, решимость и непреклонность воли, но теперь во всей его фигуре выражалась робость, почтительность и покорность перед царским величием.

Иоанн, остановясь, бегло взглянул на Годунова и быстро спросил:

– Что тебе, Борис?

Тот, низко поклонившись и почтительно сложив на груди руки, сказал:

– Преподобный игумен Чудова монастыря, архимандрит Левкий желает предстать пред светлые твои очи, государь!

– Зови его!

Стольник вышел, и вскоре в палату вошел Левкий, угодник и потворщик страстям Грозного.

Он предстал с смиренным видом: глаза были опущены вниз и руки сложены крестообразно.

Помолившись пред иконами, он подошел к царю и смиренно произнес:

– Да благословит тебя Господь на всякое благое дело!

Царь набожно подошел под его пастырское благословение.

– Пойдем, отец, – проговорил Грозный, – ты нужен мне.

Оба они прошли в опочивальню.

Князь Вяземский, отвесив обоим низкий поклон, тихо удалился.

– Чем может служить недостойный пастырь великому государю? – усаживаясь в кресло по приглашению Иоанна, промолвил игумен, когда они вошли в опочивальню и остались там вдвоем.

Грозный сел на свое роскошное ложе и оперся на посох.

– Слушай, отец: я царь и дело трудное – править большим государством; быть милостивым – вредно для государства, быть строгим – повелевает долг царя, но строгость точно камень лежит на моем сердце. Вот и сегодня, в годовщину моего венчания на царство, вместе с придорожными татями погиб на виселице сын изменника Воротынского, – неповинен он был еще по делам, но лишь по рождению. Правильно ли поступил я, пресекши молодую жизнь сына крамольника, дабы он не угодил в отца, друга Курбского?

Говоря эти слова, Грозный пытливым оком смотрел на игумена и, казалось, хотел насквозь проникнуть в его душу.

Левкий несколько минут молчал, смиренно опустив глаза в землю и перебирая четки. Казалось, он придумывал и составлял ответ, который бы понравился Иоанну и не раздражил бы его.

Нетерпение Иоанна постепенно усиливалось, и он наконец вскрикнул:

– Ну, что же ты молвишь мне?

Игумен поднял голову и ответил:

– Наказывать преступников – долг государя, иначе он сам будет преступником. Вспомни, о царь великий и мудрый, о пророке Моисее: он был на горе Синае, а израильтяне в то время сотворили себе золотого тельца и поклонялись ему. Что сделал он? Избил тысячи преступников. Среди них были и неповинные дети преступных отцов. Сам Господь часто повелевает карать до седьмого колена. Притом ведомо и Отцу Небесному, что действуешь ты, государь, радея лишь о благе своего народа, и первый среди всех богомолец за убиенных крамольников.

Иоанн просиял.

– Добрый ответ, отче! А другие не так мыслят: называют меня кровопийцей, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь горячими слезами. Кровь видят все: она красная, всякому в глаза бросается, а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают на мою душу и словно смола горячая прожигают ее.

Царь при этих словах поднял взор свой кверху, как бы исполненный глубокой горести.

– Яко же древле Рахиль, – продолжал он и глаза его закатились под самый лоб, – яко же древле Рахиль, плачуще о детях своих, так и аз, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, преподобный отец.

Игумен с смиренным видом слушал похвалы своего венценосного духовного сына. На секунду лишь едва заметная улыбка торжества промелькнула на его тонких губах.

– Помолимся о новопреставленном боярине Владимире, – вдруг сказал царь и встал с кресла.

Левкий быстро вскочил и рядом с Иоанном опустился на колени перед громадным иконостасом, стоявшим в царской опочивальне и освещенным несколькими лампадами червонного золота, блеск которых отражался в литых золотых окладах множества образов.

Время этой молитвы царя и игумена об упокоении души новопреставленного боярина Владимира как раз совпало с временем загадочного похищения с виселицы на лобном месте одного изtrupов казненных в день 16 января 1569 года.

III. Малюта Скуратов

Григорий Лукьянович Малюта Скуратов-Бельский по внешнему виду был человек высокого роста, сильного телосложения, с неприятной, отталкивающей физиономией. Опишем подробнее наружность этого «знаменитого опричника», – она стоит такого описания. Низкий и сжатый лоб, волосы, начинающиеся почти над бровями, несоразмерно развитые скулы и челюсти, череп спереди узкий, переходивший сразу в какой-то широкий котел к затылку, уши, казавшиеся впалыми от выпуклостей за ушами, неопределенного цвета глаза, не смотревшие ни на кого прямо, делали то, что страшно становилось каждому, кто хотя вскользь чувствовал на себе тусклый взгляд последних, и каждому же, глядя на Малюту, невольно казалось, что никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не в силах была проникнуть в этот сплюснутый мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое, безнадежное, возбуждавшее страх и ужас, смешанные с отвращением, во всех так или иначе сталкивавшихся с ним людях, даже в его сотоварищах, приближенных и родных, исключая самого царя Иоанна Васильевича, который любил и дорожил своим верным слугою.

Малюта действительно являлся всегда точным и самым старательным исполнителем жестокостей Грозного, угадывал его малейшее желание, волю, никогда не противоречил его приказаниям, вполне убежденный в их необходимости и разумности, – словом, был слепым орудием в руках царя, беспрекословным, почти бессловесным рабом его, собакой, готовой растерзать без разбора всякого, на кого бы ни вздумалось царю натравить ее.

За это-то Иоанн и любил его и всецело доверял ему, не находя для своих жестоких повелений более достойного и лучшего исполнителя.

Ограниченный умом, Григорий Лукьянович по природе своей был мстителен, зверски жесток, и эти отрицательные качества, соединенные с необычайной твердостью воли и отчаянной храбростью, делали его тем «извергом рода человеческого», «исчадьем кромешной тьмы», «сыном дьявола», каковым считали его современники и каким он до сей поры представляется отдаленному на несколько веков от времени его деятельности потомству.

Летописцы и историки не жалели и не жалеют темных красок для наложения позорного исторического клейма на этого, почти мифического, поборника зла и порока.

Имя Малюты стало синонимом палача.

Нельзя положительно утверждать, что в нем не было ничего человеческого, порядочного и честного, но все это проявлялось так слабо в этой сильной натуре, что на первый план выступало все-таки нравственное уродство этого человека.

Мы застаем его на другой день описанных нами в предыдущих главах событий в собственных, роскошных московских хоромы, в местности, отведенной в столице исключительно для местожительства опричников, откуда, по распоряжению царя, еще в 1656 году были выселены все бояре, дворяне и приказные люди. Местность эта заключала в себе улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым-Врагом и половину Никитской с разными слободами.

Григорий Лукьянович сидел в большом кресле, обитом малиновым бархатом. На нем был богатый, шитый золотом кафтан, за кушаком торчал длинный кинжал в дорогих ножнах.

Перед ним в почтительной позе стоял маленький, сутуловатый толстенький человек. Кругленькое, сравнительно с ростом огромных размеров, брюшко покоилось на коротеньких ножках и придавало всей фигуре стоявшего шарообразный, комический вид.

Это был наперсник Малюты, более умный, чем он сам, а потому и необходимый для него советник.

Григорий Лукьянович доверял ему все свои тайны и полагался на него, как на самого себя.

Звали его Тимофеем Ивановичем Хлопом или, как звал его Малюта, а также все домашние и приближенные грозного опричника – последние, конечно, заочно, – Тимошка Хлоп.

Тимошка был злобен и жесток, любил наушничать, и все окружающие ненавидели и боялись его.

– Так ты говоришь, что Яшка повесился, сам себя предал казни? Как будто на его шею не достало бы у нас другой петли, не нашлось бы и на его долю палача! Али затруднять не пожелал? Чуял, собака, что не стоит новой веревки. Исполать ему, добру молодцу!

Малюта оглашал воздух хриплым, злобным хохотом и чуть не прыгал на кресле. Глаза его сверкали диким огнем зверской радости, и морщины, эти печати преждевременной старости и разгульной жизни, расходились по всему лицу.

Тимошка глядел в упор на своего властелина. В его маленьких, сереньких глазах отражались все его внутренние качества: хитрость, лукавство, злоба и зверство, а на его тонких губах играла торжествующая, змеиная улыбка.

– Как докладывал твоей милости, Григорий Лукьянович, повесился Яков вчера ночью, а ноне утром зарыли его, пса смердящего.

– Ловко, неча сказать, подстроил ты, брат, эту штуку, ловко, хвалю... – разразился Малюта новым взрывом дикого хохота.

– Рад раскинуть своим холопским умишком для твоей милости! – с низким поклоном отвечал Тимофей Иванович.

– Раскинул, брат, по-молодецки раскинул, дьявольски умно придумал – трех зайцев, вопреки пословице, мы с тобой одним ударом ухлопали: любимца князя Василия – треклятого Яшку извели, самого князя подвели под государеву немилость, и даже дочка его, княжна Евпраксия, теперь в нашей власти. Так-ли говорю, Тишка?

В голосе Скуратова послышались почти нежные ноты. От сильного удовольствия он стал потирать себе руки и замурлыкал какую-то песню.

– Так, так, правильно, Григорий Лукьянович! – ухмылялся улыбкой змеиного довольства наперсник.

На несколько минут воцарилось молчание.

– Подождать, брат, надо и не то еще будет! – снова заговорил Малюта. – Откликнется еще не так Прозоровскому обида моя! Сам жив не останусь, а придумаю ему такую казнь, от которой содрогнется сам царь Иоанн Васильевич!

– Всем бы давно надо знать, что не сподручно ссориться с твоею милостью, – льстиво заметил Тимошка.

Безобразное лицо Малюты искривилось улыбкой удовольствия.

– Да, в силе я у великого государя моего, сильнее всех бояр его.

– И быть бы тебе над боярами боярином, да мало к царю с докуками ходишь... Ты-ли не единый почти среди всех вернейший слуга его?

– Не люблю я докучать ему... – проворчал сквозь зубы Григорий Лукьянович, и лицо его омрачилось.

Сан боярский был издавна высшею степенью в государстве. Малюта был честолюбив и страстно добивался его, но Грозный не возводил его в эту степень, как бы уважая древний обычай и не считая своего любимца достойным носить этот верховный сан. Получение боярства было, таким образом, заветною, но пока недостижимой мечтой Григория Лукьяновича.

– Ты продолжай все же свои розыски о князе, надо покончить его поскорей! – переменял он разговор.

– Трудновато, ох как трудновато, – задумчиво промолвил Тимофей Иванович. – Уж как я ни стараюсь, а никто из княжеских холопей не хочет идти против своего боярина... Все любят его, как отца родного, готовы за него в огонь и воду...

Малюта нахмурился.

– Это, брат, плохо, надо придумать...

– Я уж придумал. Вот что разве сделать: есть у меня знакомый человек, за деньги он согласится назваться холопом князя Владимира Андреевича. Составим под руку князя к князю Василию грамоту, в которой тот будет советовать ему известить царя. Эта грамота пойдет к князю Прозоровскому, а мы его тут и накроем. Да еще подбросим в подвалы княжеского дома мешки с кореньями и другими зельями, тогда и другая улика будет налицо.

– Это похоже на дело! Действуй, действуй! – радостно заметил Григорий Лукьянович. – Тебя же, знаешь чай сам, награжу по-царски, – прибавил он, отпуская слугу.

– И так много довольны твоею милостью, – сделал тот земной поклон и хотел удалиться.

– О главном-то я позабыл: что наш казненный княжеский сын? – остановил его Малюта.

– Порядком, видимо, помаялся на петле, доложу твоей милости, насилу отдох, как принесли к Бомелью, княжна, чай, сама за ним ухаживает...

Ревнивый огонь блеснул в глазах Малюты.

– Долго, – скажи ему, – чтобы не проклажался... Нужда до него есть. Елисею же Бомелию скажи, чтобы за княжной глядел в оба, – головой своей басурманской ответит мне за нее.

– Исполню все в точности! – отвечал Тимошка и удалился.

Малюта остался один и глубоко задумался.

Кто мог проникнуть в черные думы этого изверга?

Заранее ли предвкушал он всю сладость жестокого отмщения, придуманного им для врага своего, князя Василия Прозоровского, радовался ли гибели Якова Потапова, этого ничтожного сравнительно с ним по положению человека, но почему-то казавшегося ему опаснейшим врагом, которого он не в силах был сломить имевшуюся в руках его власть, чему лучшим доказательством служит то, что он, совместно с достойным своим помощником, Хлопом, подвел его под самоубийство, довел его до решимости казнить себя самому, хотя хвастливо, как мы видели, сказал своему наперснику об умершем: «Разве не достало бы на его шею другой петли, не нашлось бы и на его долю палача», но внутри себя таил невольно какое-то странное, несомненное убеждение, что «другой петли» для этого человека именно не достало бы и «палача не нашлось бы», – или, быть может, Григорий Лукьянович погрузился в сладостлюбивые мечты о красавице княжне Евпраксии Васильевне, которую он теперь считал в своей власти, – не будем строить догадок и предупреждать событий.

IV. Детство и юность Иоанна IV

Прежде чем нам придется, по необходимости, перенестись почти на пять лет назад для объяснения всего таинственного и недосказанного в предыдущих главах, мы считаем не лишним, скажем более, неизбежным, познакомить читателей, хотя вкратце, с первой, славной половиною царствования грозного царя, дабы по возможности выяснить характер этого загадочного до сей поры исторического деятеля, который явится и одним из главных действующих лиц нашего повествования, а также причины и обстоятельства, сложившиеся для образования этого характера.

До появления в свете IX тома «Истории Государства Российского» у нас признавали Иоанна государем великим, видели в нем завоевателя трех царств и мудрого, попечительного законодателя. Знали, что он был жестокосерд, но и то только по темным преданиям, и отчасти извиняли его во многих делах, считая эти меры жестокости необходимыми для утверждения благодетельного самодержавия.

Сам Петр Великий хотел подражать ему. Это мнение поколебал Карамзин, прямо заявивший, что Иоанн, в последние годы своего правления, не уступал ни Людовику XI, ни Калигуле, но что до смерти первой супруги своей, Анастасии Романовны, он был примером монархов благочестивых, мудрых, ревностных к славе и счастью государства.

Где искать объяснения подобной перемены? Великий историк, гениальный и беспристрастный отметчик событий минувших веков, не дает нам его.

Существует по этому вопросу ответ историка – современника Иоаннова – князя Андрея Курбского-Ярославского, написавшего «Историю князя великого московского о делах, яже слышахом у достоверных мужей и яже видехом очима нашими».

В начале этого сочинения знаменитый изгнанник говорит, что многие светлые мужи просили его убедительно объяснить им причины странной перемены в государе московском царе Иоанне, ознаменовавшем себя в юности доброю славою, а в старости покрывшем себя бесславием. Долго отвечал он одним молчанием и тяжкими вздохами, наконец, убежденный неотступными просьбами друзей, написал для них и для потомства эту историю.

Если верить Курбскому, Иоанн, до покорения Казани, действовал невольно, по совету бояр, а потом начал поступать по внушению собственного разума и сердца. Вследствие этой мысли приписывая всю славу оружия доблестным стратегам¹, Курбский старается доказать, что Россия наслаждалась золотым веком только тогда, когда великие сигклиты², поседевшие в добродетелях, руководили Иоанном, как младенцем; когда же их не стало и он сам начал царствовать, тогда Россия испытала иную участь.

Но в данном случае мы легко можем подозревать Курбского в несправедливом пристрастии, так как он питал к царю злобу непримиримую. Одному Богу известно, не думал ли он очернить память Иоаннову, чтобы оправдать свою измену и спасти имя от вечного позора.

Мы вправе лишь сказать одно: кто, как сделал то Иоанн, в решительную минуту, когда наше войско стремглав бросилось из Казани, преследуемое неприятелем, стал перед ним и остановил робких, кто своею рукою писал правила Стоглава, заботился о торговле, о просвещении, тот не был бегун, не знавший, где укрыться от толпы татар, как описывает его Курбский, или малодушный властитель, которого силою заставили полюбить на время добродетель.

Сделаем же сами посильную попытку разрешить этот вопрос и уяснить себе характер грозного царя по данным истории первой половины его царствования.

¹ Воинам – подлинное выражение князя Курбского.

² Советники – подлинное выражение князя Курбского. – (Прим. автора)

Царь Иоанн Васильевич родился от второй супруги Василия Иоанновича – Елены Глинской. Сохранилось предание, что будто в момент рождения Иоанна была такая страшная буря, что колебалась земля. Это произошло в 1530 году, а в 1533 великий князь Василий Иоаннович внезапно заболел и скончался.

За малолетством Иоанна делами царства начала править мать его, Елена. Братья Василия Иоанновича, Юрий и Андрей, вздумали было воспользоваться малолетством своего племянника, великого князя, и завладеть тронem, но их замыслы были обнаружены правительницей и они оба были лишены за это свободы.

Сама Елена, впрочем, удержала в своих руках бразды правления только около пяти лет. Причиной этого было то, что она приблизила к себе боярина Телепнева-Оболенского, поручила ему все важнейшие дела в царстве, одного его только слушала и заставляла остальных бояр признавать своего любимца старшим между ними.

Это крайне не нравилось последним, и они наконец решились погубить и правительницу, и Телепнева, в чем и успели. Елена была отравлена, а Телепнев-Оболенский задушен.

Иоанну было всего восемь лет, и он, понятно, не мог вступить в дела правления, а потому бояре, по смерти правительницы – матери царя, поделили власть между собою и возымели даже мысль возвысить свое павшее значение, которое имели в удельно-вечевой период.

Взаимные интриги, постоянные несогласия, борьба из-за первенства помешали, к счастью для потомства, достигнуть им этой цели, разрушить работу великих князей – собирателей земли русской. Они достигли лишь противоположного: боярское влияние уничтожилось навсегда.

Они даже не были способны приобрести расположение народа, который, видя их постоянные крамолы и междоусобия из-за власти, их кривосудие и грабеж казны государевой, глядел на них как на ненавистных чужеземцев, а не как на своих родовых бояр, полезных государственных деятелей и блюстителей законов.

При таком порядке вещей им, разумеется, некогда было заниматься воспитанием великого князя. Они едва успевали опутывать друг друга сетями интриг и крамол; они даже дошли до такой дерзости, что оказывали явное неуважение особе будущего царя, затевая в его присутствии всевозможные ссоры и делая его свидетелем неприличных сцен, долженствовавших оставить след в душе впечатлительного царственного отрока.

Князья Шуйские, Бельские и Глинские были главными виновниками всех неурядиц во время малолетства великого князя, от которых страдал народ православный. Они своим недостойным поведением подавали дурные примеры восприимчивому от природы Иоанну.

«Смуты и козни придворные, – пишет Карамин, – занимали думу более, нежели внутренние и внешние дела государственные».

Во главе сонма новых правителей, заменивших Елену Глинскую и ее любимца – Телепнева-Оболенского, стал князь Иван Васильевич Шуйский, но недолго пользовался властью, болезнь, как надо думать, заставила его отказаться от двора. Он жил еще года два или три, не участвуя в правлении, передав его в руки своих ближайших родственников: князей Ивана и Андрея Михайловичей Шуйских и Федора Ивановича Скопина, людей недалеких по уму, грубых эгоистов, которые и не думали истинным усердием в делах заслужить народную любовь и признательность юного венценосца.

Подрастая, Иоанн начал чувствовать тягость этой незаконной опеки, ненавидел Шуйских, особенно князя Андрея, и склонялся душою к их тайным и явным недоброжелателям. В числе последних были советник думы Федор Семенович Воронцов и воспитатель великого князя – князь Иван Бельский.

Их обоих удалили от двора, несмотря на заступничество юного царя и престарелого митрополита.

Иоанну исполнилось тринадцать лет. Он обладал пылкой душой, редким умом, непоколебимую, выдающуюся силою воли и имел бы все главные качества великого монарха, если бы воспитание образовало или усовершенствовало в нем природные способности, но рано лишенный отца и матери, отданный на произвол буйных вельмож, ослепленных безрассудным личным властолюбием, он был на престоле несчастнейшим сиротою русской державы, и не только для себя, но и для миллионов своих подданных готовил несчастье своими пороками, легко возникающими при самых лучших естественных свойствах, когда еще ум, этот исправитель страстей, недостаточно окреп в молодом теле.

Один князь Иван Бельский мог еще быть хорошим наставником и примером добродетели для державного отрока, но Шуйские отняли достойного вельможу у государя и государства. Стараясь привязать к себе Иоанна исполнением всех его желаний, они постоянно забавляли и тешили царя во дворце шумными играми, в поле – звериною ловлею, воспитывали в нем склонность к сластолюбию и даже к жестокости, не думая о последствиях.

Любя охоту, царь любил не только убивать диких животных, но и мучить домашних, бросая их с высокого крыльца.

А бояре говорили:

– Пусть державный веселится!

Они же восхваляли в нем смелость, мужество и проворство, когда, окруженный толпою сверстников, он бесчинно резвился с ними или скакал по улицам и давил женщин и стариков, забавляясь их криками.

Об укоренении каких-либо нравственных правил в душе их будущего властелина они не помышляли.

Такая безумная система воспитания прежде всего обрушилась на головы ее виновников. На них, потерявших впоследствии один за другим свои гордые, непоклонные головы, всецело оправдалась русская пословица: «Сама себя раба бьет, что не чисто жнет».

Собственными руками направили они, эти властолюбцы-ограничители, на свои негнувшиеся выи карающую руку грозного неограниченного самодержца.

Время между тем шло. Иоанн приближался к совершеннолетнему возрасту. Придворные козни в Кремлевском дворце, а вместе с ними «затруднения» господствующих бояр и число врагов последних увеличивались с каждым днем.

Родные дяди государя, князья Юрий и Михаил Васильевичи Глинские, мстительные и честолюбивые, несмотря на бдительность Шуйских, внушали своему племяннику, что ему время объявить себя действительным самодержцем и свергнуть похитителей власти, которые угнетают народ, осмеливаются глумиться над самим государем; что ему надо только вооружиться мужеством и повелеть; что Россия ожидает его слова.

Эти советы не пропали даром, и четырнадцатилетний царь вдруг созвал бояр и в первый раз явился перед ними грозным повелителем.

Опалы и жестокости нового правления устрешили сердца.

Это был первый период казней. Он продолжался до вступления Иоанна в первый брак с юною Анастасиею, дочерью вдовы Захарьиной, муж которой, Роман Юрьевич, был окольниковым, а потом и боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, въехавшего к нам из Пруссии в XIV веке.

Царица Анастасия была ангелом на престоле. Современники приписывают ей все женские добродетели, для которых только находили они имя на русском языке: «целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным, не говоря о красоте, так как она считалась уже необходимою принадлежностью царской невесты».

Обряд венчания совершился в храме Богоматери. Сумев внушить к себе искреннюю любовь своего венценосного супруга, она незаметно подчинила его своему благородному влиянию, и царь, приблизив к себе иерея Сильвестра и Алексея Адашева, начал тот славный период

своего царствования, о котором с восторгом говорят русские и иноземные летописцы, славный не только делами внешними, успехами войн, но и внутренними, продолжавшийся около шестнадцати лет, до самой смерти царицы Анастасии и удаления Сильвестра и Адашева по проискам врагов.

Удалились те, которые, по выражению Карамзина, «исхитили юношу из сетей порока и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели», и царь снова остался предоставленным своим, извращенным воспитанием, инстинктам, взводимым в добродетели окружавшими его льстецами и наушниками.

Потребовалось, однако, несколько лет этим новым развратителям венценосца для окончания своей адской работы, но в конце концов они достигли цели, и государь, любимый, обожаемый, с высоты блага, счастья, славы низвергнулся в бездну ужасов тиранства.

Это было в начале 1565 года.

К этому-то году мы и перенесемся с тобою, читатель.

У. В осиротелой Москве

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, от Рождества же Христова 1565 года, в самый день Крещения, 6 января, к высоким дубовым воротам обширных хором князя Василия Прозоровского, находившихся недалеко от Кремля, на самом берегу Москвы-реки, подъехали сани-пошевни, украшенные вычурной резьбой, покрытые дорогами коврами и запряженные шестеркою лошадей. Несколько десятков всадников, по обычаю того времени, окружали их, и по этому пышному кортежу можно было безошибочно заключить, что это был «боярский поезд». Действительно, в санях, закутанный в медвежью шубу, сидел князь Никита Прозоровский, родной брат князя Василия, у ворот чьих хором и остановился «поезд».

Князь Никита прибыл к брату, не заезжая к себе домой, прямо из Александровской слободы, и такая поспешность для далеко неповоротливых старых вельмож того времени уже одна указывала на неотложное, серьезное дело.

Князь Василий с нетерпением ожидал приезда брата из новой резиденции. Услышав доклад слуги о приближавшемся поезде, князь, несмотря на серьезную болезнь ноги от раны, полученной им незадолго перед тем при отражении литовцев от Чернигова, ознаменовавшемся геройским подвигом со стороны князя – взятием знамени пана Сапеги, – несмотря, повторяем, на эту болезнь, удержавшую его дома в такой важный момент московской жизни, он, опираясь на костыль, поспешно заковылял из своей опочивальни навстречу прибывшему брату в переднюю горницу.

Дубовые ворота быстро отворились настежь для желанных гостей, и весь поезд въехал на обширный двор.

Не торопясь вылез князь Никита с помощью соскочивших с коней слуг из пошевень и, поддерживаемый ими под руки, так же неторопливо поднялся по ступеням крыльца, ведущим в хоромы.

Двери отворились, и встретившиеся братья обнялись и трижды расцеловались.

Князья Василий и Никита Прозоровские были еще далеко не старые люди: старшему, Василию, кончался шестой десяток, а младшему, Никите, он был только в начале. Впрочем, труды по службе, воинской и думской, тяжесть переживаемого времени вообще, положили свою печать на обоих братьев, и они казались много старше своих лет, особенно князь Василий, которого удручало, кроме того, еще личное горе: не прошло и года, как он похоронил свою любимую жену, княгиню Анастасию, сошедшую в могилу в сравнительно молодых годах. Двадцать лет прожил он с покойной, что называется, душа в душу, нашедши в ней не только любимую супругу, но, что особенно редкостью было в описываемый нами период теремной жизни русской женщины, друга и умного и верного советника, если не в государственных, то в придворных делах.

Князь жил безутешным вдовцом с своей единственной дочерью – Евпраксией Васильевной, цветущей молодостью, здоровьем и красотой, на которую старый князь перенес всю нежность своего любвеобильного сердца, уязвленного рановременной потерей своей любимой подруги жизни. Княжне в момент нашего рассказа шел шестнадцатый год, но по сложению и дородству она казалась уже совершенно взрослой девушкой, вполне и даже роскошно сформировавшейся.

Князь Никита не испытал семейных огорчений, как не испытал и сладостей семейной жизни: он был, как сам называл себя, «старым холостяком», отдававшим всю свою жизнь исключительно делам государственным и придворным интригам, что было в описываемое нами время нераздельно. Его сердце и ум были всецело поглощены колоссальным честолюбием, но в первом, впрочем, находили себе место привязанность к брату и нежная любовь к племяннице.

Князь Василий платил брату за любовь любовью же и, скажем правду, более искреннюю. Хотя и его думы, как думы всех государственных деятелей того времени, были заняты переживаемой отечеством тяжелой, едва начавшейся, но угрожавшей своими последствиями годиной, но к этим думам не было примешано личного беспокойства. В противоположность брату, князь держался вдали от придворной жизни, насколько, конечно, позволяло ему его положение, и лишь несомненно сознаваемая им польза его вмешательства или участия в судьбах любимого им отечества заставляла его с энергией браться за ратное или думское дело, по усмотрению государя. Это-то и было причиной, что сердце князя Василия было отзывчивее на призыв родственного чувства.

Переживаемая Русью упомянутая тяжелая година началась в самом конце 1564 года и почти неожиданно.

Случившаяся незадолго перед тем измена Андрея Курбского, бежавшего в Литву, и неудавшийся замысел Сигизмунда потрясти Россию, произвели в Москве только кратковременную тревогу, но далеко не в такой малой мере отразились в подозрительном сердце Иоанна. Царь продолжал кипеть гневом и волноваться: все бояре казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского: он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании. Наступило время доносов, их требовали и жаловались, что их мало: самые бесстыдные клеветники не удовлетворяли жажде подозрительного государя. Еще какая-то невидимая десница удерживала тирана. «Жертвы были перед ним, – как образно говорит Карамзин, – но еще не вздыхали, к его изумлению и муке».

Вдруг, в начале зимы 1564 года, Москва узнала, что царь уезжает неизвестно куда со всеми своими ближними, дворянами, приказными и воинскими людьми, созданными поименно с семействами из самых отдаленных городов.

Рано утром 3 декабря изумленные москвичи увидели необычное зрелище: на Кремлевской площади появилось множество саней, на которые начали сносить из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, драгоценные сосуды, одежды и деньги.

Государь, окруженный боярами, вышел из дворца и прошел в церковь Успения, где митрополит Афанасий отслужил обедню.

Иоанн молился с необычным усердием, принял от Афанасия благословение, милостиво допустил к своей руке бояр, чиновников и купцов и, вышедши из церкви, сел в приготовленные роскошные пошевни с царицей, двумя сыновьями, с Алексеем Басмановым, Михаилом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чеботовым и другими любимцами и, провожаемый целым полком вооруженных всадников, выехал из столицы, оставив ее население ошеломленным неожиданностью.

Осиротелая Москва пришла в ужас.

– Государь нас оставил, мы гибнем! – раздавались возгласы.

– Кто будет нашим защитником в войнах с иноплемениками? – слышались беспокойные вопросы.

– Как могут быть овцы без пастыря! – причитали третьи.

Чувство народа, привыкшего к самодержавию и глубоко сознающего его несомненную пользу, сказались рельефно в этот тяжелый, слава Создателю, не повторявшийся исторический момент.

Догадывались о причинах, побудивших царя на такой решительный шаг, – измена Курбского была слишком свежа в народной памяти, – и все, от бедного до богатого, от простого до знатного говорили:

– Пусть царь казнит своих лиходеев, в животе и смерти его воля, но царство да не останется без главы! Он наш владыка богоданный, иного не ведаем.

– Пусть укажет нам царь своих изменников, мы сами истребим их.

Громче и настойчивее заговорили в том же духе после 3 января 1565 года, когда при- сланный Иоанном чиновник Константин Поливанов вручил митрополиту грамоту царя, в кото- рой тот описывал все мятежи, неустройства и беззакония боярского правления во время его малолетства, доказывал, что они расхищали казну, земли, радели о своем богатстве, забывая отечество, что дух этот в них не изменился, что они не перестают злодействовать, а если он, государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным, то митрополит и духовенство вступаются за виновных, грубят, стужают³ ему.

«Вследствие чего, – так заканчивал Иоанн свое послание, – не хотя теперь ваших измен, мы, от великой милости сердца, оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь».

От Поливанова узнали, что царь из Москвы проехал в село Тайнинское, а оттуда в Тро- ицкий монастырь, и лишь к Рождеству прибыл в Александровскую слободу.

Митрополит один хотел немедленно ехать к царю умолять его возвратиться, но бояре сказали ему:

– Мы все с своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться.

Собрался совет и на нем положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, в кото- рой господствовало необычное смятение: все дела пресеклись, суды, приказы, лавки и кара- ульни опустели. Ударить челом царю и «плакаться» избрано было посольство, в числе которого поехал в Александровскую слободу и князь Никита Прозоровский.

³ «Стужать» – надоедать – выражение летописца. – (Прим. автора)

VI. В хоромах князя Василия

Не с веселыми вестями вернулся князь Никита из Александровской слободы.

Но прежде чем мы узнаем их из келейной беседы двух братьев князей, столь различных характерами и жизненными целями и столь сходных по внешнему облику, опишем в нескольких словах их наружность.

Князь Василий Прозоровский был высок и дороден. Темно-русые, с сильною проседью волосы в беспорядке падали на умный лоб с несколькими рассеченными шрамами – почетным украшением воина. Окладистая борода, почти совершенно седая, покрывала половину груди. Из-под темных нависших бровей сверкал открытый, честный пронизательный взгляд прекрасных, сохранивших почти юношескую свежесть карих глаз, а вокруг уст играла приветливая улыбка. Непоколебимое сознание своего достоинства, своих способностей и заслуг, не переходя границ, где начинается чванство, проявлялось во всех движениях и речах князя Василия. Его младший брат, князь Никита, был замечательно схож с ним, но казался гораздо моложе, хотя разница в годах братьев была невелика. Он был только несколько ниже ростом. Взгляд его глаз, глядевших исподлобья, хотя и выражал тоже недюжинный ум, но с большой примесью хитрости и искательства, а сквозь улыбку просвечивало то, что в просторечье называется «себе на уме». Быть может, печать этих свойств, разнивших его от брата, положила на него придворная жизнь того времени, мутные волны которой для него, как мы знаем, были родной стихией.

Троекратно облобызав приехавшего брата, князь Василий ввел его в брусяную избу с изразцовой лежанкой, с длинными дубовыми лавками вокруг стола, стоявшего ближе к переднему углу, и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво уставленной на широких полках.

В этой комнате, в сопровождении четырех сенных девушек, уже дожидались князя Никиту его племянница, княжна Евпраксия Васильевна, с двумя золотыми кубками, наполненными дорогим заморским вином, на серебряном подносе.

Такие «встречные кубки» были обычаем того времени для дорогих гостей.

Потчевание этими кубками в домах женатых людей лежало на обязанности жены, у вдовцов же – на взрослой старшей дочери. Неподнесение кубка считалось высшею степенью холодности приема.

В обычаях «встречного кубка», да еще в «поцелуйном обряде», когда хозяин, по старинной русской «обычности», как выражались тогда, просил гостя или гостей не наложить охулы на его хозяйство и не побрезговать поцеловать его жену или дочь, после обнесения последними гостей «кубком привета», который хозяйка пригубливала первая, проявлялось и ограничивалось всякое дозволенное женщине того времени сообщение с посторонними мужчинами, кроме ее мужа, отца или брата. Тихо и плавно приблизилась княжна Евпраксия к отцу и дяде и отвесила им обоим поясной поклон «малым обычаем». От этого движения и от тяжести подноса, который она держала в руках, кубки, стоявшие близко друг к другу, зазвенели.

Княжна была в голубом, вышитом серебром сарафане, прекрасно шедшем к ее светло-каштановой широкой косе, заплетенной в девяносто прядей. Заплетена она была очень слабо и закрывала, подобно решетке, весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь непомерно.

Много требовалось на то умения и досуга, но первого не занимать было сенным девушкам княжны Евпраксии, а второго было много и у боярышень, и у прислужниц в те праздные для русской женщины времена. В косу были искусно вплетены нитки жемчуга, а на ввязанный в конце косы треугольный косник насажены дорогие перстни с самоцветными камнями.

Изящный овал лица, белизна кожи и яркий румянец, горевший на полных щеках, в соединении с нежными, правильными, как бы выточенными чертами лица, густыми дугами соболиных бровей и светлым взглядом темно-карих глаз, полузакрытых густыми ресницами, высо-

кой, статной фигурой, мягкостью очертаний открытой шеи, стана и полных, белоснежных рук, видневшихся до локтя из-под широкого рукава сарафана, ни единым штрихом не нарушали гармонию в этом положительном идеале русской красоты, выдающеюся представительницей которого и была княжна Евпраксия Прозоровская.

Ей, как мы знаем, шел шестнадцатый год. Что же можно было ожидать в будущем от этого, едва распутившегося, но уже роскошного цветка?

Недаром князь Василий гордился своей дочерью, но ее чарующая красота порой навела его на печальные думы.

Сыщется ли для нее достойный суженый? Ни на одном молодом боярском сыне не мог он остановить своего выбора. Ни в одном из них, по совести, не желал бы видеть он своего будущего сына. Годы между тем промелькнули незаметно, да и не много осталось их до полного расцвета юной княжны.

Как тогда уберечь ее?

Эти неотступные вопросы все чаще и чаще стали появляться в голове старого князя.

Что же касается до княжны, рано развившейся физически, но еще девочки по летам, то Бог весть, были ли заняты ее ум и сердце чем-либо иным, кроме нарядов да игр и забав со своими санными девушками?

Как угадать в девичьем сердце момент пробуждения нежного чувства? Легче подслушать, как трава растет летом в чистом поле, как звезды шепчутся между собой на небе зимнею ночью!

Князь Никита выпил вместе с братом кубок душистого вина, троекратно облобызал свою племянницу в алые губы и сел, по приглашению князя Василия, в красный угол избы.

Княжна Евпраксия удалилась со своими прислужницами.

Многочисленные слуги князя Василия поставили между тем на стол всевозможные яства на серебряных блюдах, вина и меда в дорогих кувшинах, и братья стали трапезовать, так как был обеденный час, – перевалило за полдень.

Благоразумная осторожность того времени заставляла не проронить при холопах лишнего слова.

Разговор трапезовавших был односложен и вертелся на обыденных предметах: князь Никита не начинал своего рассказа о событиях в Александровской слободе, а брат его не задавал до заземления сердца интересующих его вопросов.

Только по лицу своего брата видел он, что тот привез ему невеселые вести.

Впрочем, многоглаголанье за столом и не было в обычае того времени.

Наконец трапеза окончилась, слуги убрали со стола и удалились.

Братья остались одни.

Княжна Евпраксия между тем вернулась к себе в верхние светлицы и была, по обыкновению, весела, смеялась и шутила с девушками.

Она сидела на лавке, покрытой дорогим ковром, и перед ней, на маленьком, низеньком столике, стояла большая, вычурной «немецкой» работы шкатулка; крышка шкатулки, наполненной доверху драгоценностями, была открыта.

Евпраксия занималась их примериванием.

– Княжна, – сказала одна из девушек, – примерь еще вот эти запястья – они повиднее.

– Будет с меня примерять, девушки, надоело! – капризно произнесла княжна и захлопнула крышку шкатулки.

– Запевай-ка, Танюша, песню повеселее! – сказала княжна.

Стоявшая около нее чернобровая, круглолицая и краснощекая девушка с вздернутым носиком на миловидном и здоровом личике лихо подбоченилась:

Пантелей государь ходит по двору,
Кузьмин гуляет по широкому,

Кунья на нем шуба до земли,
Соболья на нем шапка до верху,
Божья на нем милость до веку.
Сужена-то смотрит из-под пологу,
Бояре-то смотрят из города,
Боярышни-то смотрят из терема.
Бояре-то молвят: чей-то господин?
А сужена молвит: мой дорогой!

Последние слова девушки подхватили хором. Песня сменялась песнею. Девичьи песни известны: все о суженом, о расплетении кос, о бабьем кокошнике.

После песен разговор продолжал вращаться около этих девичьих тем.

– А коса, девушки, ведь красивей кокошника? – заметила Евпраксия.

– Все в свою пору, княжна, – отвечали, смеясь, девушки. – Ты и в кокошнике, например, будешь краше солнца красного.

– Не хочу расставаться с косой, не хочу кокошника, девичья волюшка всего милее!

– Захочешь, княжна, как выищется суженый; конем его не объедешь; и косу, и волюшку – все отдашь за ласковое слово.

Евпраксия молчала, как бы о чем-то задумавшись.

Девушки тоже примолкли, но ненадолго.

Увидав, что княжна затуманилась, они снова защебетали вокруг нее.

– Вот, Танюшка, например, не прочь бы очень от кокошника, – заметила Маша, белокурая полная девушка с большими голубыми глазами.

– Полноте, вы, пересмешницы, – огрызнулась Танюша, – мне бы хоть век не расплетать косы. Я же знаю таких, что глаз не сводят с Якова Потаповича.

Девушки залились звонким смехом, а иные смутились и покраснели. В числе последних была и княжна.

Одна Танюша заметила это, бросила на нее пыливый взгляд и вдруг затянула веселую песню, подхваченную хором.

Веселье пошло своим чередом.

Внизу между тем князь Василий и Никита вели серьезную беседу.

VII. Слободские вести

Когда слуги удалились, князь Василий подошел к обоим дверям, ведущим в смежные горницы, тщательно притворил их и, вернувшись на место, обратился к брату:

– Ну, как и что? Рассказывай.

Князь Никита откашлянулся, погладил свою бороду и, придав своему лицу, как это было в его обыкновении при всякой серьезной беседе, возможно бесстрастное выражение, начал передавать брату, который весь, что называется, превратился в слух, о виденном и слышанном им в Александровской слободе.

– Мы остановились в Слотине и послали доложить о себе государю. Он прислал за нами приставов, которым приказал препроводить нас в слободу, а вчера только впустил нас во дворец. Сперва предстало духовенство. Архиепископ Пимен говорил первый перед царем от лица духовенства, вельмож, дворян и приказных людей. Он передал ему благословение от митрополита и слезно, красноречиво молил снять опалу, не оставлять государства, царствовать и действовать как ему угодно, молил также дозволить боярам видеть царские очи. Царь согласился и нас впустили. От лица бояр, по поручению остальных послов, говорил я. С силою убеждал я государя сжалиться над Россиею, возвеличенной его победами и мудрыми уставами, славною мужеством ее многочисленного народа, богатою сокровищами природы и еще славнейшею благовением. «Когда, – сказал я в заключение, – ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, ты оставляешь святыни храмов, где совершались чудеса божественной к тебе милости, где лежат целебные мощи угодников Христовых. Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви: кто спасет истину, чистоту нашей веры? Кто спасет миллионы душ от погибели вечной?»

Князь Никита повторял свои слова, сказанные Иоанну, с такою же торжественностью, как бы говоря пред лицом самого царя.

Его брат сидел недвижимо. Он любил в брате эту восторженность речи, стараясь не замечать ее деланности. Он благоговел пред его умом и красноречием, осуждал в нем только излишнее подобоострастие, претившее его прямодушию.

– Я упал на колени перед государем, – продолжал князь Никита, – остальные, и даже духовенство, последовали моему примеру.

Он замолчал.

– Что же государь? – почти шепотом, после продолжительной паузы спросил князь Василий.

– Он отвечал нам, – продолжал князь Никита, но уже тоже понизив голос до шепота, – по своему обыкновению, многоглагольно, пересыпая свою речь текстами Священного Писания и ссылками на историю; он упрекал нас в своеволии, нерадении, строптивости; доказывал, что мы издревле были виновниками кровопролитий и междоусобий в России, издревле врагами державных наследников Мономаха, говорил, будто мы хотели извести его, его супругу и сыновей...

На губах слушавшего князя Василия мелькнула печально-горькая улыбка.

Князь Никита между тем продолжал:

– Но, – сказал Иоанн, смягчившись, – для отца моего, митрополита Афанасия, для вас, богомольцев наших, архиепископов и епископов, я соглашаюсь паки взять свои государства, но на условиях.

– Какие же это условия? – прошептал Василий.

– Невозбранно казнить изменников опалю, смертию, лишением достояний, без всяких претительных докук со стороны духовенства... – тихо, наклонившись к самому уху брата, проговорил князь Никита.

Князь Василий вспыхнул и вскочил со скамьи.

– И вы поняли, что это значит?

Никита только опустил голову.

– В этих словах изречена гибель почти каждому из нас, – продолжал Василий, быстро ходя по комнате, насколько это позволяла ему его больная нога.

– Мы не думали о жизни, мы хотели возратить только царя царству! – гордо подняв голову, отвечал князь Никита и замолчал.

– А царство, лишенное добрых и сильных, будет ли, по вашему, процветать при одних царедворцах?.. – воскликнул князь Василий.

Князь Никита пугливо оглянулся.

– Нельзя всего думать вслух! – уклончиво заметил он.

– Вот вы когда опомнились! – засмеялся князь Василий горьким хохотом. – А кто подготовил все ныне происходящее? Плоды чьей работы пожинаете вы в настоящее время? Чьих, как не своих собственных рук?

Он умолк на минуту, видимо, от волнения.

Брат с беспокойством глядел на него.

– Не вы ли у постели умирающего царя не забывали интриг и крамол ваших, думали лишь о своих выгодах, не постыдились у ора смерти венценосного отца отступить от его сына, переметываться на сторону князя Владимира.

– Мы лишь хотели, чтобы нами не владели Захарьины, и чем нами владеть Захарьиным, думали мы, и чем нам было служить государю молодому, так мы лучше станем служить старому князю Владимиру, – возразил князь Никита.

– А разве вы не целовали крест сыну государя? – остановился князь Василий прямо против брата.

Он не получил ответа.

– За это клятвopеступление и покарал вас Бог, поставив снова на ноги царя, которого вы почти считали в могиле. Я далек от двора, но видел больше вас и, кажись, не дурной подал тебе совет присягнуть одним из первых маленькому Иоанну.

Он в упор глядел на брата.

– Правда, правда, я не забуду твоей услуги, ты спас этим мою голову... – кивнул тот в знак согласия.

– И это все проделывали вы, хвастающиеся своей дальновидностью царедворцы, когда знали, как возбужден царь против бояр еще с самого малолетства. Я сам слышал, как после взятия Казани государь, рассердившись на одного из воевод, сказал ему: «Теперь оборонил меня Господь от вас». Если бы ты слышал, каким голосом это было сказано, то ужаснулся бы звучащей в нем ненависти. Господь за ваши грехи ожесточает сердце государево все горшими и горшими испытаниями. Ваше поведение за время его последней болезни уже переполнило чашу его озлобления против бояр. Смерть сына была той каплей, которая заставила ее пролиться. Теперь надо готовиться ко всему. Ты говоришь, что возвратили царству царя, а я говорю тебе, что вы и мы, ни в чем неповинные ратные люди, проливавшие за него несчетное количество крови, потеряли его и... приобрели лишь мстителя.

Последние слова князь Василий произнес почти без звука, одним движением губ.

Князь Никита продолжал молчать; да и что было отвечать ему? Он глубоко сознавал, что брат был прав, но ему не хотелось этого выказать. Он был слишком самолюбив, чтобы не страдать от сознания правоты другого, даже родного брата.

– Повторяю, мы потеряли его, – продолжал между тем князь Василий, – потеряли совершенно: он окружит себя новыми людьми, он последует совету неистового Вассиана.

Князь Никита удивленно и вопросительно посмотрел на него.

– Разве ты не знаешь и того, что, когда после болезни государь ездил, по обету, на богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь, то заехал в Песношский, близ Дмитрова, и был в келье Вассиана Топоркова, любимца покойного князя Василия?

– Знаю, но что же из этого?

– Государь, – я слышал это за достоверное, – спросил Вассиана: «Как должен я царствовать, чтобы вельмож своих держать в послушании?» Вассиан наклонился к нему и тихо сказал: «Если хочешь быть самодержцем, не держи при себе ни одного советника, который был бы умнее тебя, потому что ты лучше всех; если так будешь поступать, то будешь тверд в царстве и все будешь иметь в руках своих. Если же будешь иметь при себе умнее себя, то по необходимости будешь им послушен». Царь поцеловал его руку и отвечал: «Если бы и отец мой был жив, то и он такого полезного совета не подал бы мне».

– Так, так, оно на то и идет! – невольно вырвалось у князя Никиты.

– А что? – спросил князь Василий.

– Сказывали в слободе, что Василий Юрьев да Алексей Басманов составляют царю запись о новом дворе, и будет тот двор называться «опричиной».

– Опричиной? – удивленно произнес князь Василий, присаживаясь на лавку к столу.

Князь Никита в коротких словах стал рассказывать ему устав этого нового, до того времени неизвестного в России, учреждения особых царских телохранителей.

– Царь объявит своею собственностью несколько городов, – повествовал он, – выберет тысячу телохранителей из князей, дворян, детей боярских и даст им поместья в этих городах, а прежних вотчинников и владельцев переведет в иные места; в самой же Москве займет под них некоторые улицы. Телохранителям этим дано будет особое отличие: к седлам их коней будут привязаны собачьи головы и метлы в «ознаменование» того, что они грызут царских лиходеев и выметают измену из России.

Несмотря на то, что для князя Василия все это, как мы видели, не было особенною неожиданностью, такое быстрое исполнение его пророчества о потере для бояр царя поразило его.

Он глубоко задумался.

Наступило молчание, которое прервал первый князь Никита.

– Кроме Басманова и Юрьева, в большой чести у царя Григорий Скуратов.

– Татарин! – презрительно, сквозь зубы, процедил князь.

– Ништо что татарин, а теперь сила. Я, признаться, к нему заискал, гостем у него был.

– Ты, князь Прозоровский! – вспыхнул Василий.

– Ничего не поделаешь: такие времена переживать приходится, что не знаешь, где потеряешь, где найдешь.

– Не стать бы князьям Прозоровским находить что у Малюты! – высокомерно оборвал брата князь Василий.

– Не говори, брат, я и к тебе с челобитьем.

– С каким?

– Надо нам Скуратова на свою сторону переманить: силен он у государя, так не прогневишь на меня, я его к тебе пригласил, за гостеприимство-де и брат, и я тебе, Григорий Лукьянович, заплачу.

– Ко мне? Малюта? Нет, этому не бывать!

– Сам ты молвил сейчас, и правду святую молвил, что царя-де мы потеряли, так надо нам его и возвратит попытаться; силой сам, чай, знаешь, ничего теперь не возьмешь, стороной надо действовать полегоньку, людьми пользоваться, а на это у меня, сам ведаешь, умения не занимать стать.

Князь Никита замолчал.

Князь Василий продолжал сидеть, гордо подняв свою красивую голову.

– Молчи лучше, не мути меня, опять интригу затеваешь! Говорил не раз – брось, просись у царя на воеводство, подальше... Ишь, что задумал, через татарву поганую православного царя добывать... Молчи!

– Молчу, молчу, – замахал руками князь Никита. – Но коли любишь меня – в лгунах перед Скуратовым не оставишь. Татарин он, согласен, так не след князю Прозоровскому перед татаринном в лгунах быть. К слову же молвить, род Скуратовых, баят, от князей происходит, да и к царю близкий человек, тот же боярин, сам ты не раз осуждал наше местничество.

– Не родовая честь говорит во мне, – смягчился князь Василий, – претит он душе моей... подальше от него... покойнее...

– Да чем же, чем? Человек он угодливый... С лица только не вышел, так мы с тобой не красные девушки, не под венец с ним идти, а на твое знакомство он очень льстит, и от угощения его тебя не убудет, – льстиво продолжал князь Никита.

– Угостить я рад всякого! – заметил князь Василий, задетый братом за струнку гостеприимства. Ин будь по-твоему... Скажи когда позовешь...

– Вот за это спасибо!

Братья расцеловались.

– Да, – с горечью произнес князь Василий после некоторой паузы, – тяжелые времена и впрямь переживаем мы, и за татарина приходится ухватиться, ублажать его да кланяться. Скоро, впрочем, на Руси кроме татар да холопьев никого не останется... Куда все боярские роды подевались? Сгинули, как ветром разнесло... Видано ли когда было, чтобы боярского сына к чужим людям подкинули? А теперь Яков мой – налицо.

– Да полно, боярский ли он сын? – заметил князь Никита, желая переменить разговор и зная, что брат не оставит этого вопроса, составлявшего его конек, без горячего возражения.

– Ты опять за свое... Сказывал я тебе, тельник на нем надет был золотой с алмазами, не холопью же отродью надевать такой будут. До конца прошлого года хранил я его у себя в образной, не раз и тебе его показывал, и только с месяц тому назад, как Якову исполнилось восемнадцать лет, возвратил ему. Да и по лицу, по сложению, по разуму его видна порода, не меня кому-либо учить различать людей...

Князь Василий нахмурился.

– Где же он теперь, что подельвает? – спросил его брат.

– Чай, у себя в горнице, по обыкновению, за книгой сидит. С нынешнего года к лекарской науке пристрастился, у Бомелия в учениках ходит!

– У Бомелия? – удивился князь Никита.

– Не боярская это наука, сам знаю, да без имени боярин – что басурман; все наука лучше разбойного дела, а ему, сиротинке, только и было два выбора, ну, из двух зол я и выбрал меньшее. А захребетником моим быть гордость ему не позволяет, так мне и высказал, порода-то не свой брат, заговорила.

Князь Василия пустился в длинную похвальбу своего приемыша.

Цель князя Никиты была достигнута – разговор о придворных делах не возобновлялся.

VIII. Подкидыш

В одной из отдаленных горниц обширных хором князя Василия Прозоровского, сравнительно небольшой, но все же просторной и светлой, с бревенчатыми дубовыми, как и во всех остальных, стенами, за простым деревянным столом и на таком же табурете сидел молодой человек лет восемнадцати. Два широких окна горницы выходили в обширный, запущенный снегом сад, сквозь оголенные, покрытые инеем деревья которого виднелась узкая лента замерзшей Москвы-реки, а за ней скученные постройки тогдашнего Замоскворечья.

Кроме стола и табурета в комнате стояли две лавки у стен да кровать с пузатой периной и несколькими подушками; на полке, приделанной к стене, противоположной переднему углу, лежали, в образцовом порядке, несколько десятков книг в кожаных переплетах и свитков с рукописями.

Одна из книг лежала открытою на столе перед сидевшим юношей.

Из переднего угла кротко глядел, освещенный большою лампадою, лик Богоматери греческого письма.

Сидевший был брюнет: волнистые волосы густою шапкой покрывали его красиво и правильно сложенную голову и оттеняли большой белый лоб, темные глаза, цвета, неподдающегося точному определению, или, лучше сказать, меняющие свой цвет по состоянию души их обладателя, смело и прямо глядели из-под как бы нарисованных густых бровей и их почти надменный блеск отчасти смягчался длинными ресницами; правильный орлиный нос с узкими, но по временам раздувающимися ноздрями, и алые губы с резко заканчивающимися линиями рта придавали лицу этого юноши какое-то властное, далеко не юношеское выражение. Пробиравшиеся уже темным пухом усы и борода резко оттеняли белизну кожи и яркий румянец щек.

Роста повыше среднего, широкоплечий и мускулистый, он на всякого производил впечатление того сказочного русского витязя, описаниями которого полны народные песни и былины.

Одет он был в кафтан тонкого черного сукна; черные же шерстяные шаровары были засунуты в высокие сапоги желтой кожи, красиво облегавшие стройную ногу. Вся его фигура, до белых с тонкими пальцами рук включительно, красноречиво говорила о породе.

Это и был тот подкидыш Яков Потапов, о котором беседовал с братом князь Василий и упоминание чьего имени черномазою Танюшей смутило княжну Евпраксию и некоторых находившихся в ее светлице сенных девушек.

Яков Потапович был далеко не занят чтением лежавшей перед ним латинской книги. Глаза его были устремлены в окно, но едва ли внимание его могло быть приковано той видневшейся ему картиной, которую он мог достаточно изучить в проведенные им в княжеском доме, и даже в этой самой горнице, годы. По выражению его глаз можно было заметить, что перед ними проносились иные, невидимые никем, кроме него, картины.

Годы, проведенные им под кровом приютившего его князя Прозоровского, с тех пор, как только стал он себя помнить, с лет самого раннего детства, проносились перед ним однообразной чередой.

Воспоминания всего пережитого в первый раз посетили его. До сей поры жизнь его текла безмятежною струею: не задумывался он над своим положением в княжеском доме, считая себя дальним родственником своего благодетеля, сиротой, лишившимся еще в колыбели отца и матери; для мыслей о будущем также не было места в юной голове, — юноши живут настоящим, а это настоящее было для него светло и радостно, вполне, впрочем, лишь до последнего года.

Помнит он себя совсем маленьким: помнит — и тогда удал он был. Начнут, бывало, ребята в городки играть — беда той стороне, что супротив его. Разлетится, словно сокол ясный, как расходится в нем кровь молодецкая, и начнет он валять направо и налево — сам старый князь Василий только радуется, глядя из окна с молодой женой и малюткой-княжной Евпраксией.

Бороться ли с кем начнет он или на кулачках биться – даст себя скорее на землю свалить, чем подножку подставить или что против уговора сделать. Все, бывало, снесет он, а лукавства ни себе, ни другим не позволит.

Любил и хвалил его за это князь Василий.

С двенадцати лет отдали его в науку одному из приезжих «бусурманов»; не показалась трудна ему ни своя, ни латинская грамота, а года с два уж он проходит лекарскую науку у Бомелия и доволен им этот «колдун и чародей», как звали его в народе.

Все это вспоминается Якову Потаповичу, а наряду с этим проносятся и другие воспоминания – детские игры с княжной Евпраксией, подраставшей и расцветавшей на его глазах. Сильно привязались они друг к другу с молодой княжной, не расстаются, бывало, в часы и игр, и забав. Годы между тем летят своей чередой, в сердце юноши пробуждается иное чувство, любовь пускает свои корни на почве детской привязанности, кровь молодая горит и волнуется, не сдержит взгляда – и обожжет он невольно красавицу-княжну.

Та тоже что-то переменилась – сторониться стала. Кончились игры – и дружба порвалась, но мечты влюбленного юноши остались и что день, то росли и все сбыточнее казались ему.

Родня-то он княжне дальняя, князь Василий души не чает в нем, отчего бы и не сбыться радужным грезам?

Молодец он из себя красавец – сам знает, на то глаза есть. Сенные девушки молодой княжны под взглядом его молодецким только ежатся, так и выются вьюнами вокруг него, особенно одна – чернобровая... Да на что ему, боярину, их холопья любовь? Не по себе дерево рубить вздумали – пришибет неровен час. Княжна, княжна... касаточка...

И вдруг...

Смертельной бледностью покрылось лицо Якова Потаповича; до крови закусил он свои алые губы; две слезы назойливые блеснули на ресницах, но он смахнул их молодецким движением.

Восстало в его памяти недавнее свидание с князем Василием, глаз на глаз, в его опочивальне.

Могильным холодом охватило всего Якова Потаповича.

Было это в день его рождения, когда исполнилось ему восемнадцать лет.

Позвал его старый князь к себе, поздравил с торжественным днем и подал ему золотой крест, осыпанный алмазами, на золотой цепочке.

Чувствует Яков Потапович и теперь его на груди своей, – жжет он его, как раскаленным железом.

Слышится ему речь князя Василия, тихая да ласковая. Но какой ужасный смысл для него имела она.

– Я тебе всегда буду вместо отца, но не родня ты мне... Ведомо мне доподлинно, что ты не простого роду, а боярский или княжеский сын, но чей – мне неведомо, и нет у тебя ни отчества, ни родового прозвища. Ровно восемнадцать лет тому назад, в лютый мороз, под вечер, ключник мой, Потап, – лежит он уже в сырой земле, – нашел тебя в корзине у калитки, что в сад от реки ведет. Шел от с прорубей – верши поправлял. У меня с княгинюшкой в те поры еще детей не было. Принял я тебя, тельник с тебя снял и положил к образам, а тебя окрестили сызнова и назвали Яковым, а по отцу крестному, тебя нашедшему, стал ты Потаповым. По тельнику судя – рода ты знатного, но кто ты – о том мне неведомо...

Обнял его князь и поцеловал крепко-накрепко, видя, что он затуманился.

– Не кручинься, молодец, может, твой род и сыщется. А на всякий раз науки не бросай. Не боярское это дело, да боярин без имени – что басурман.

И теперь, как тогда, страшною горечью наполнилось сердце Якова Потаповича при воспоминании об этих словах старого князя.

«Без роду, без прозвища. Как траве без корней – перекасти-поле – катиться мне по полю житейскому... Прощайте, сладкие мечты! Прощай, княжна, моя лапушка!.. Легко на словах попрощаться, а как из сердца-то вырвать? Смерть лучше, чем жизнь такая бездольная»!..

Таковы были первые мысли Якова Потаповича после беседы с князем Василием.

Любовь и молодость взяли, однако, свое. Небесная искра надежды снова затеплилась в сердце.

– А может, род мой и сыщется! Если же нет...

Он на мгновение задумался.

– Не гожусь в мужья – пригожусь в холопья верные, – может, когда и мои услуги ей понадобятся. Сердце не надобно – головы не пожалею, за нее положу, за мою лапушку. Жить будет Яков Потапович только для тебя, княжна, и умрет только за тебя или для тебя, мое солнышко!

Неудержимым криком наболевшего любящего сердца вырвались эти слова у юноши.

Клятвой великой, клятвой исполненной, не пустыми словами оказались они, как увидим далее.

Не ведала юная княжна Евпраксия Васильевна, слушая песни своих сенных девушек, что в эту минуту ограждена на всю жизнь ее безопасность святою решимостью многолюбящего сердца.

Не ведал и князь Василий, расхваливавший в это время брату своего приемыша, какую великую службу сослужит этот приемыш его дочери, какую великую сторицею заплатит он за приют, любовь и ласку его.

IX. Сон Якова Потапова

Солнце давно уже закатилось. Ночной сумрак окутал землю. Засидевшийся с братом долее вечерен князь Никита давно уже уехал со своею челядью. Сам князь Василий отошел на покой, огни были потушены, и все в доме погрузилось в глубокий сон.

Спал и Яков Потапович, утомленный проведенным в мучительных думах днем, не первым со дня роковой беседы с князем Василием. Молодой организм взял свое, и сон смежил очи, усталые от духовного созерцания будущего. Спал он, но в тревожных грезах продолжала носиться перед ним юная княжна Евпраксия – предмет непрестанных его помышлений за последние дни.

Видит он во сне, что идут они с княжной узкой тропинкой дремучего леса; вдали виднеется зеленая полянка; цветы лазоревые рассыпаны по ней; солнце приветливо и ярко освещает эту далекую чудную картину и светлые очертания этой красивой полянки еще резче выделяются от господствующего кругом лесного мрака, так как сквозь густолиственные верхушки вековых деревьев чуть проникают лучи дневного светила.

Идут они с княжной рука об руку, почти ошупью; то и дело спотыкается она о корни деревьев, переплетающихся по тропинке; но бережно поддерживает он свою дорогую спутницу.

Вдруг раздается свирепый змеиный шип и из чаши леса с раскрытым зевом, с трепещущим в нем ядовитым жалом, прямо на княжну Евпраксию бросается огромный змей. Вскрикивает княжна и невольно прячется за спину своего спутника.

Схватывает он змея своими могучими руками прямо под голову, жмет ее изо всей силы, наливаются кровью глаза чудовища, и вдруг струя алой крови как фонтаном брызжет из пасти и жало смертоносное падает к ногам Якова Потаповича.

Выпускает он из рук бездыханное, казалось ему, чудище, падает оно наземь, но, к ужасу его, вновь схватывает потерянное им жало и с злобным шипом быстро удаляется в лесную чашу.

Хотел погнаться он за ожившим змеем, да оглянулся на княжну – и видит, лежит она на тропинке без памяти, вся алою кровью забрызгана. Забыл он и чудище, и все на свете, бросился к Евпраксии, близко наклонился к ней – и крови алой еще больше стало на голубом сарафане.

Взял он ее за белую руку, открыла она свои чудные глаза и приподнялась, зардевшись, как маков цвет. Наполнилось сердце его радостью неописанной – невредима она стоит перед ним, а кровью они оба обрызганы из пасти скрывшегося чудовища.

Далее путь держат они – далеко еще все светлая полянка. Кажется, что чем дальше идешь, тем дальше и она уплывает от жадно прикованных к ней взоров путников.

Идет Яков Потапович уже оглядываясь, за княжну опасаясь, нет ли какой опасности; держит ее крепко за руку, чувствует, как дрожит эта маленькая рука; идут они тесно бок о бок, чувствует он, как трепещет ее сердце девичье. Идет, ведет ее, глядит по сторонам, а вверх не взглядывает.

Вдруг зашумело что-то вверху; поднял голову Яков Потапович и видит – коршун громадный из поднебесья круги задает и прямо на княжну Евпраксию спускается. Выступил вперед Яков Потапович, заслонил собою дорогую спутницу и ждет врага, прямо на него глядя. Как камень падает коршун сверху к нему на грудь, клювом ударяет в самое сердце, да не успел глубоко острого клюва запустить, как схватил его добрый молодец за самую шею и сжал, что есть силы, правой рукой.

Это что же за притча такая: почудилось али нет Якову Потаповичу, что держит он в руке не коршуна, а того же змея, что ушел перед тем в чашу леса. Выпустил он птицу из руки – и

поднялась она быстро над верхушками вековых деревьев, скрывшись из виду с злобным карканьем.

Княжна стоит поодаль, ни жива ни мертва – не шелохнется.

Чувствует Яков Потапович жгучую боль в левой стороне груди, из свежей раны алая кровь сочится, да не до того ему – спешить надобно.

Снова берет он княжну за руку белую, снова ведет далее свою лапушку, и чудная полянка близится. Не одна трава зеленая и цветы лазоревые на ней виднеются, поднимается вдали белая высокая стена, а за нею блестят золотые кресты церквей Божиих.

– Видно, обитель иноческая, – думается во сне Якову Потаповичу.

Вот уже несколько шагов осталось, стало светлей и на лесной тропинке, как вдруг в лесу страшный треск послышался, точно кто на ходу деревья с корнем выламывает, и все ближе, ближе тот шум приближается.

Остановились в страхе оба путника. Добежать бы надобно, да полянка-то ясная опять вдаль ушла, – чуть виднеется, в лесу же мрак сгустился еще непрогляднее, еще ужаснее.

Медленно выходит на тропинку громадный матерый серый волк, глазища горят зеленым огнем, из полураскрытой пасти глядит кровавый язык, облизывает он им губы красные в предвкушении добычи.

Прет он прямо на княжну и на Якова Потаповича.

Снова заслоняет последний княжну своею могучею грудью, вынимает из-за пояса длинный нож, и не успевает «серый» облапить его, как вонзает он нож ему в грудь по самую рукоятку.

Задрожал зверь, застонал диким голосом, и от этого стоны весь лес как бы вздрогнул, а эхо гулкое тот стон на тысячу ладов повторило, – упал «серый» бездыханный к ногам Якова Потаповича.

Глядит тот и дивуется – у волка-то голова змеиная.

Поглядел Яков Потапович на княжну, стоит та веселая, радостная и приветливо ему улыбается.

Собрались дальше идти, ан дорога-то загорожена – мертвый зверь поперек лежит, от ствола до ствола во всю длину протянувшись.

Перешагнуть его надо, да взял Яков Потапович княжну, перевести хотел, а она вся побледнела, задрожала, не идет – упирается.

Схватил он ее на руки, да с ношей драгоценной и перескочил через зверя прыжком молодецким.

Глядь, они на самой полянке очутились перед воротами обители.

Гулко звонят Божьи колокола, а из-за ограды до них стройное пение.

Посмотрел Яков Потапович на себя и на княжну – оба они в белоснежных одеждах: ни кровинки на них не виднеется.

Тихо тяжелые ворота обители отворяются – храм Божий, весь освещенный внутри, а снаружи озаренный лучами солнечными, предстает перед глазами путников.

Вдруг по лесу, что позади их остался, раздается свист неистовый. Обернулся Яков Потапович – и в тот же миг и обитель, и княжна – все исчезло; остался он один среди светлой поляны, а на ней кругом, насколько видит глаз, ничего, кроме травы зеленой да цветов лазоревых.

По лесу же, вместо свиста, злобный хохот так и раскатывается.

Проснулся Яков Потапович весь в холодном поту – темная ночь глядит в окно.

Осенил он себя крестным знаменем и снова заснул.

И снова весь сон ему привиделся.

Проснулся он – поредела лишь немного ночная тень.

Опять засыпает он, и опять тот же сон ему видится.

Просыпается он и в третий раз – чуть брезжущий свет зимнего утра в окно врывается. Хочет он заснуть еще раз и не может – с боку на бок лишь ворочается.

Заря утренняя уж на небе загорелась.

Встал Яков Потапович, оделся, в сени пошел, умылся ледяной водой и вышел на двор смотреть, как утро с ночью борется, как заря ночную тень гонит взащей.

Прошел он широкий двор, вошел в сад, к реке стал спускаться, к той калиточке, где восемнадцать лет тому назад лежал он в корзиночке, неизвестно кем на произвол судьбы брошенный.

«Плакала ли о нем его родимая матушка? Может, до сей поры, родная, слезами обливается. Где-то его родимый батюшка? Чай, в сырой земле лежит давно, али, может, в чужедальной сторонешке горе мыкает».

На минуту, впрочем, эти мысли посетили его голову – снова вещий сон вспал ему на ум.

«К добру или к худу он? – раздумывает Яков Потапович. – Полагать надо, что к добру, потому княжну от трех напастей вызволил. Но кто-то будет для нее тем чудищем – что в трех видах во сне появилось? Вещий это сон от Господа, надо смотреть в оба, тотчас же прогнать врага, каким бы зверем или добрым молодцем он ни прикинулся. Вызволить-то вызволил, а уберечь не мог, скрылась княжна от него и остался он снова один сиротинушка! – раздумывает он далее. – Ну, да скрылась она с Божьей обителью – худа ей в том не предвидится», – успокаивает себя Яков Потапович и идет себе, понунив голову.

Вдруг шум легких шагов долетает до его слуха. Поднимает он голову – перед ним стоит Таня чернобровая, любимая сенная девушка княжны Евпраксии.

В одной душегрейке, на заре, в саду, и видно ей не холодно.

Щеки огнем горят, глаза черные, лучистые, глядят прямо на него, вызывающе.

Остановился он как вкопанный.

Что ей от него надобно?

Х. В опочивальне княжны Евпраксии

Две свечи желтого воска мягким светом озаряли опочивальню юной дочери князя Василия Прозоровского, и блеск их беловатого пламени сливался с блеском лампы, отражавшимся в драгоценных окладах множества образов в киоте красного дерева с вычурной резьбой.

Сама опочивальня, тонувшая в этом мягком полусвете, представляла из себя довольно обширную комнату с двумя окнами, выходившими в тот же сад, куда выходили окна комнаты Якова Потаповича, и завешанными, за поздним ночным временем, холщовыми, вышитыми узорным русским шитьем занавесками, с большой лежанкой из белых изразцов с причудливыми синими разводами.

У стены, слева от входа, стояла высокая кровать с толстейшей периной, множеством белоснежных подушек и стеганым голубым шелковым одеялом. В углу, противоположном переднему, было повешено довольно большое зеркало в рамке искусной немецкой работы из деревянной мозаики, а под ним стоял стол, весь закрытый белыми ручниками, с ярко и густо вышитыми концами; несколько таких же ручников были повешены на зеркало.

Атмосфера комнаты не была, по обычаю того времени, жарко натопленной, но входившего охватывала чарующая, манящая к неге, умеренная теплота, а вместе с тем и какая-то живительная свежесть.

В тот момент, когда мы нескромным взором, по праву бытописателя, заглянули в считавшуюся в те давно прошедшие времена недоступной для взора постороннего мужчины девичью спальню, княжна была уже в постели, но не спала.

Прикрытая небрежно откинутым одеялом только до половины груди, в белоснежной кофте, с заплетенными в толстую косу роскошными волосами она была прелестна в своем ночном наряде.

Княжна полулежала, облокотивши голову на левую руку, а перед ней, на низкой скамейке, сидела ее любимица, знакомая уже нам чернобровая и круглолицая Таня. Тот же, как и днем, кумачный сарафан стягивал ее роскошные формы, длинная черная коса была небрежно закинута на правое плечо и змеей ползла по высокой груди.

Княжна и ее любимица молчали, как бы погруженные каждая в свои собственные думы.

Но смолкли они незадолго перед этим. Более часу вели они вполголоса оживленную беседу.

Спавшая чутким старческим сном нянька княжны Евпраксии старушка Анна Панкратьевна, устроившаяся на теплой лежанке, несколько раз просыпалась от их непрерывавшегося полусшепота и наконец заворчала:

– Не наговорились за день-то, полуношницы! Ночь на дворе, добрые люди третий сон видят, а они, как басурманки какие, после молитвы ни весть о чем перешептываются! Уймись вы, неугомонницы!..

Старушка перевернулась на другой бок и снова заснула, о чем красноречиво засвидетельствовало ее легкое похрапывание.

От этой ли отповеди Панкратьевны, как звали все в княжеском доме старушку-няню, вынянчившую и покойную княгиню, и молодую княжну, горячо любимую последней и уважаемую самим старым князем, оттого ли, что на самом деле наговорились они досыта, но молодые девушки вдруг примолкли.

Старушка Панкратьевна была права, утверждая, что они «после молитвы ни весть о чем перешептываются». Далеко не божественного касались их девичьи задушевные разговоры среди ночной тишины.

Говорила, впрочем, более одна Таня, княжна же слушала ее, задавая лишь по временам односложные вопросы, и слушала с непрерывным интересом и трепетным вниманием.

Лицо княжны то пылало вдруг загоравшимся румянцем, то бледнело, видимо, от внутреннего волнения, а глаза ее то искрились радостью, то подергивались дымкой грусти, то влажной истомы.

О чем же о таком говорила ее любимица, что так волновало молодую девушку?

Нетрудно догадаться, что говорила она о том чувстве, которое впервые заставляет до наслаждения больно сжиматься сердце на расцвете юности, – о чувстве любви. Княжна еще не испытала его.

Несмотря на раннее развитие тела, мысли о существовании другого пола, долженствующем пополнить ее собственное «я», не посещали еще юной головки, хотя за последнее время, слушая песни своих санных девушек, песни о суженых, о молодцах-юношах, о любви их к своим зазнобушкам, все ее существо стало охватывать какое-то неопределенное волнение, и невольно порой она затуманивалась и непрошенные гости – слезы навертывались на ее чудные глаза.

Княжна не могла объяснить себе этого чувства, да и не пыталась.

Образ красивого, статного юноши, воспеваемого песнями, лишь порой мелькал в ее девичьем воображении. Более всех из виденных ею мужчин под этот образ подходил Яков Потапович, но его, товарища детских игр, она считала за родного, чуть не за сводного брата и не могла даже вообразить себе его как своего суженого, как того «доброего молодца», что похищает, по песне, «покой девичьего сердца». Спокойно, до последнего времени, встречала она его ласковый взгляд и слушала его тихую, сладкую речь.

Лишь незадолго перед описываемым нами временем стала она как-то инстинктивно сторониться от него, избегать беседы с ним. Огневой взгляд его глаз стал смущать ее, вызывая на лицо жгучую краску стыда. Она, сама не зная отчего, стала бояться его.

Она поняла теперь, что это не любовь. Не то говорила об этом чувстве чернобровая Таня.

– Кипит в сердце кровь смолою кипучею, места не находишь себе ни днем, ни ночью, постылы и песни, и игрища, и подруги без него, ненаглядного; век бы, кажись, глядела ему в ясные очи, век бы постепенно сгорала под его огненным взором. Возьмет ли он за руку белую – дрожь по всему телу пробежит, ноги подкашиваются, останавливается биение сердца, – умереть, кажись, около него – и то счастье...

– Да кого же любишь ты, коли все так знаешь доподлинно? – допытывалась княжна, слушая восторженные речи своей любимицы.

– А тебе, княжна, на что знать? Ведаешь, чай, пословицу: «Много будешь знать – скоро состаришься». С тобой на одной дорожке, авось, не столкнемся – не пара он тебе. Не холоп он хотя, но без роду и племени... Кто он – никто не ведает.

Княжна удивленно смотрит на Таню.

У той щеки пылают, глаза горят, губы вздрагивают.

– А на тебя он, меж тем, свои буркалы частенько забрасывает, – не могла не заметить ты этого.

Глаза княжны, широко, с недоумением раскрывшись, глядели на говорившую.

– Ну, да обойдется теперь, как старый князь глаза ему открыл, каков он на самом деле есть добрый молодец! – продолжала Таня.

В ее голосе слышались злобно-насмешливые ноты.

– Кто же это такой? – низким шепотом, с тем же недоумением в глазах спросила княжна.

– Ишь, какая ты, княжна, недогадливая! Уж скажу тебе, – угрожу али нет, – не ведаю: кому быть иному, как не Якову.

Горевшие злобным огнем глаза санной девушки так и впились в княжну Евпраксию.

– Якову? – повторила та. – Но как же ты говоришь без роду без племени? Ведь он нам с батюшкой родней приходится!..

Таня злобно усмехнулась.

– По забору по княжескому он в родне состоит с тобой, княжна, и с князем, твоим батюшкой!..

– Что ты, Танюшка, несешь что-то несурзное?.. – перебила ее княжна. По какому такому забору?..

Не спуская с княжны пытливого взгляда своих горящих глаз, начала Таня передавать ей узнанную ею новость о том, что Яков Потапович подкидыш, найденный под забором княжеского сада у калитка, которая ведет на берег Москвы-реки.

Как ни старался князь Василий сохранить от всех в тайне разговор с Яковом Потаповичем в день его рождения, когда он передал ему его родовой тельник, не мог он этого скрыть от любопытной челяди, и пошла эта новость с прикрасами по людским и девичьим.

Шепотком, за тайну великую передавалась она из уст в уста и, как мы видели, дошла до княжны Евпраксии.

В конце этого рассказа Танюши и прервала беседу девушек своей воркотней проснувшаяся Панкратьевна.

Обе девушки, как мы видели, замолчали.

Княжна задумалась под впечатлением услышанной новости: жаль ей стало Якова, которого она с самого раннего детства привыкла считать за родного.

«Каково ему-то, бедному сиротинке!» – думалось ей.

О чем задумалась чернобровая Таня – как решить?

Довольна ли была она своим наблюдением над княжною, успокоившись, что в ней не будет для нее опасной соперницы, что не любит княжна Якова Потапова настоящею любовью, тою любовью, от которой готово разорваться на части ее бедное сердце? Задумалась ли Танюша о способе привлечь к себе своего кумира, приворожить его к себе на веки вечные, потому что смерть краснее, чем жизнь постылая, без любви, без ласки его молодецкой, с высокомерной его холодностью при встрече и беседе?..

А как избежать этих желанных встреч при жизни под одною кровлею?

Несколько времени длилось упорное молчание.

Танюша первая прервала его.

– А Панкратьевна и впрямь права: спать нам пора, княжна, – встала она, потрянув головою и потягиваясь всем корпусом. – Покойной ночи!

Княжна не ответила ей ни слова.

Танюша загасила свечи и неслышной походкой вышла за дверь.

Задумавшуюся, полулежавшую княжну Евпраксию освещал лившийся из переднего угла мягкий, дрожащий свет лампы.

В опочивальне наступила тишина, изредка лишь прерываемая легкими всхрапываниями Панкратьевны.

XI. Первая бессонная ночь

Княжна Евпраксия не заметила ухода своей любимой сенной девушки, не заметила и того, что в опочивальне, когда Танюшей были потушены восковые свечи, стало темнее. Но молодая девушка не спала.

Она полулежала на своей мягкой постели с широко раскрытыми глазами, устремленными в одну точку.

Легкие подергивания линий ее красивого рта и появление изредка чуть заметных морщинок на ее точно высеченном из мрамора высоком лбу выдавали обуявшие ее думы.

Страстные речи Танюши произвели на этого полурейбенка, полудевушку сильное, неотразимое впечатление. Она впервые поняла, что стоит на рубеже иной жизни, иных ощущений, что эти ощущения и составляют истинный смысл грядущей настоящей жизни, что они страшны, но привлекательны, мучительны, но сладки.

Такою жизнью живет Таня, такие ощущение переживает она теперь.

И княжне становится страшно за свою любимицу, и вместе с тем завидует она ей.

Это воспетое в песнях чувство любви, которое составляло для нее до сей поры только слово – звук пустой, вдруг воплотилось в воображении молодой девушки в нечто неотразимое, неизбежное для нее самой, в нечто ею видимое и ощущаемое, в какой-то томительно-сладкий кошмар.

– На тебя он свои буркалы закидывает! – припоминается ей резкая фраза Танюши.

Мысли княжны сами собою переносятся на Якова Потаповича, а вместе с тем невольно приходят воспоминания так еще недавно минувшего детства.

Образ ее покойной матери, княгини Анастасии, восстает перед ней.

Видит она ее красивое, с выражением небесной кротости, лицо, взгляд ее умных и нежных глаз как бы и теперь покоится на ней; чувствует княжна на своей голове теплую, мягкую, ласкающую руку ее любимой матери.

Две блестящие слезинки выступают на чудных глазах княжны Евпраксии.

Припоминает она свою дорогую мать во время ее болезни. Заболела она огневицей⁴ ни с того ни с сего; ума не могли приложить домашние, где она ознобилась: разве в амбаре по хозяйству налегке задержалась.

В то далекое время наши предки не любили лечиться у ученых лекарей, считая их, с одной стороны, басурманами, так как они приходили к нам из-за границы, а с другой – чародеями, знающими с нечистой силой. Все, начиная с последнего холопа до знатного боярина, пользовались советами домашних знахарей, которые лечили простыми средствами, и иногда очень удачно.

Старая нянька Панкратьевна была в княжеском доме и лекарь, и акушерка, и отличная ворожея.

Все знания, все старания свои приложила она к уходу за больной княгинюшкой, – тоже ее воспитанницей, в которой она, как и в ее дочери, души не чаяла, – да ничто не помогло побороть болезнь.

Старый князь решил позвать Бомелия.

Поворчала старуха втихомолку, «не ладно-де отдавать православную княгиню в руки нехристя», да смирилась: «Авось милосердный Господь помилует».

Не помогла, увы! и «басурманская» наука, только «даром осквернили голубушку-княгинюшку», как умозаключила Панкратьевна.

⁴ Горячкой. Название того времени. – (Прим. автора)

Отдала княгиня Богу душу, очистив себя, впрочем, последним покаянием и напутствием в жизнь вечную.

Искренне пожелали «золотой княгинюшке», этому «ангелу на земле», как называли ее домашние, царства небесного все, до последнего холопа в княжеском доме.

Сам князь Василий был положительно ошеломлен разразившимся ударом.

Смерть горячо любимой матери была для юной княжны Евпраксии первым жизненным горем, первую черною тучею на горизонте ее безоблачного детства.

Удвоившаяся к ней нежность отца, пришедшего наконец в себя от безвозвратной потери, все же не могла заменить ей ласк матери. Да и не со всеми волнующими ее молодой ум вопросами может обратиться она к отцу.

Инстинктивно догадывалась она, что не поймет он, мужчина, при всей его к ней любви, многого из ее девичьих дум.

Ощутительнее всего это отсутствие матери, это полусиротство явилось для молодой княжны в описываемую нами ночь, после ее разговора с Таней.

Запали горячие речи сеной девушки в юную головку княжны Евпраксии.

Сама не ведает она, что творится с ней, а творится что-то неладное. Кровь кипучая бушует во всем теле, то в жар, то в озноб бросает княжну, голова горит, глаза застилаются мелкою сеткою. Не испытала она до сих пор ничего подобного! Что с ней такое приключилось? Кабы была жива родимая матушка, побежала бы она к ней, как бывало, прижала бы к ее груди свое зардевшееся личико, передала бы ей, что томит ее что-то неведомое, не весть что под сердце подкатывается, невесть какие мысли в голове ходуном ходят, спать ей не дают, младешеньке. Объяснила бы ей ее матушка, что ключится с ней, успокоила бы свою доченьку, и заснула бы она сладким, тихим сном у груди материнской. А теперь, увы! сон бежит от ее воспаленных глаз.

Не спит княжна и всякие думы думает. Разбудить, разве, няньку Панкратьевну, да начнет она причитать над ней, да с уголька spryskivatsya: сглазил-де недобрый человек ее деточку, сказки, старая, начнет рассказывать, все до единой княжне знакомые. Чувствуется княжне, что не понять Панкратьевне, что с ней делается, да и объяснить нельзя: подвести, значит, под гнев старухи Танюшу – свою любимицу. Доложит она как раз князю – батюшке, а тот, во гневный час, отошлет Танюшу в дальнюю вотчину – к отцу с матерью.

От Панкратьевны это сбудется: не любит она «востроглазую занозу и смутьянку», только и есть у нее для Танюши прозвища.

Знает княжна, что горячо, беззаветно любит ее Панкратьевна и тем более не простит Тане, что смутила покой ее «ненаглядной княжны-кралечки», ее «сиротинки-дитятки Божьего».

«Уж одна как-нибудь до чего-нибудь да додумаюсь!» – решает княжна, и снова бегут перед ней картины прошлого и снова отдается она во власть воспоминаний.

– На тебя свои он буркалы закидывает!

Как живой стоит перед ней Яков Потапович. Припоминает она с ним свои игры детские: как ловко скатывал он ее, бывало, зимой с высокой горы, индо дух у нее захватывало! Отчего же на последних стало ей его вдруг боязно? Не знает, с чего стала она избегать его сама?! Поглядит он на нее – краскою жгучею стыда покрывается ее лицо белое и спешит она поскорей от него уйти, глаза потупивши.

«Об этих взглядах, видно, и говорит Танюша, что он на нее закидывает буркалы. Да с чего же это он? Ужели она ему полюбилась, не только как родная, или по играм подруженька, а как красная девица полюбиться должна добру-молодцу, как хочет Танюша полюбиться ему?» – задает себе княжна мысленно вопросы.

Не бьется в ответ на них ее сердце девичье учащенным биением, не ощущает княжна того трепета, о котором говорила Танюша как о признаке настоящей любви. Не любит, значит, она

Якова Потаповича тою любовью, о которой говорится в песнях, а если привыкла к нему, жалеет его, то как родного, каким она привыкла считать его, как товарища игр ее раннего детства.

– Не можешь ты мне быть соперницей, не пара он тебе! – вспоминается княжне опять речь Танюшина.

«Значит, и я могу то же, что она, чувствовать! Оттого, может, и тяжело мне, что впервые я это сведала? Где же мой-то суженый? В каких местах хоронится? Скоро ли явится?»

Гвоздем засели вопросы эти в юную головку княжны Евпраксии; переворачивает она их на все лады.

Время в ночной тиши пролетает незаметно.

Не спится совсем княжне, даже не дремлет.

Заря утренняя уже в края окон, сквозь занавеси, пробивается.

На дворе вдали где-то дверью хлопнули.

Жмурит княжна насильно глаза свои – не смыкает их на заре сон живительный.

Вот и солнышко встало и заиграло лучом по занавесям, в горницу пробралось, скользнуло по стене, по лежанке, по морщинистому лицу спящей Панкратьевны. Загорочалась старушка, глаза раскрыла, зевнула раза три, осенив свой рот крестным знаменем, и стала спускаться с лежанки.

Притаилась княжна Евпраксия, закрыла глаза, притворилась спящею.

Слышала она, как подошла к ней Панкратьевна, поправила одеяло и на цыпочках вышла из опочивальни.

Вернувшись через часок, она застала уже княжну проснувшуюся.

– Хорошо ли, касаточка, выспалась? – спросила ее заботливая нянюшка.

– Благодарствуй, нянюшка, что ни на есть лучше выспалась, – в первый раз в жизни солгала своей няне княжна.

Так и не узнала Панкратьевна о первой бессонной ночи своей питомицы. Не догадалась старуха, что княжна, ее касаточка, по русской пословице, «не спала – да выспалась», легла ребенком – встала девушкой.

ХII. Любовь сенной девушки

Не спала в эту ночь и «востроглазая смутьянка» Танюша, нарушившая душевный покой княжны Евпраксии, заставившей ее впервые испытать весь ужас бессонницы.

Вышедши из опочивальни княжны, она вошла к себе в горенку, находившуюся рядом, и, не вздувая огня, скорее упала, чем села, на лавку у окна, вперив взгляд своих светящихся в темноте глаз в непроглядную темень январской ночи, глядевшую в это окно.

Еле брезжущая лампада перед образом Спасителя слабо озаряла передний угол, оставляя все остальное пространство маленькой горенки почти во мраке.

Стол, кровать да деревянная укладка, стоявшая в углу, довершали незатейливое убранство жилища любимой сенной девушки княжны Евпраксии.

Познакомимся поближе с этой далеко не второстепенной героиней нашего правдивого повествования.

Таня, Танюша – как звала ее княжна, Татьяна Веденеевна – как полупочтительно величали ее, ввиду ее близости к молодой княжне, княжеская дворя, Танька-цыганка – по заочному прозвищу той же дворни, была высокая, стройная, молодая девушка. Черные волосы, цвета вороньего крыла, обрамляли смуглое, почти с бронзовым оттенком круглое личико, с задорным, вызывающим выражением; большие, черные как уголь глаза метали искры сквозь длинные ресницы из-под густых дугообразных бровей.

Татьяне Веденеевне шел двадцатый год. Только что набросанный нами портрет этой княжеской сенной девушки красноречиво доказывал, что прозвище цыганки не было лишено достаточных оснований. Тип лица Танюши был совершенно не русский.

Да и на самом деле она была настоящей цыганкой по происхождению.

Ее отец с матерью и двумя ее старшими братьями, случайно отбившись от своего табора, попали в дальнюю вотчину князя Василия Прозоровского, где у последнего были громадные табуны лошадей, и так как цыган Веденей оказался отличным коновалом, то князь Василий охотно принял его в свою дворню, отвел ему землю под постройки и помог обзавестись оседлым хозяйством.

Семейство цыган зажило в княжеской вотчине как у Христа за пазухой. Там и родилась Татьяна Веденеевна.

В одну из летних поездок князя Василия, после женитьбы, с семьей в эту вотчину, трехлетней княжне Евпраксии приглянулась семилетняя смуглянка Танюша, встреченная ею в саду. Каприз девочки, как и все капризы своей единственной боготворимой дочки, был исполнен князем Василием: цыганочка Танюша была взята в княжеский дом и княжна Евпраксия стала с нею неразлучной, привязавшись всей душой, к величайшей досаде старой няньки, к этому «иродову отродью», как прозвала Танюшу Панкратьевна.

Невзлюбил маленькую цыганку и шестилетний Яша, – хоть она около него больше, чем около княжны, увивалась, – ни за что ни про что, а невзлюбил.

Приехала Танюша в Москву, в хоромы княжеские, да в них и поселилась.

Княжна стала подрастать; росла и Танюша, и определена была к ней в число сенных девушек. Не изменилась к ней с годами княжна Евпраксия, так и осталась она ее любимицей: ей и сарафан с плеча княжны, благо княжна была рослая, ей и ленту в косу от княжны в подарочек.

Как сохранилась к Танюше привязанность княжны, так не исчезла и антипатия к ней Яши, ставшего уже Яковом Потаповичем, не любил он ее одну, кажись, во всем княжеском доме.

А она год за годом все загадочнее стала на него поглядывать, не сводит с него своих блестящих глаз; все норовит с ним остаться глаз на глаз, а Яков Потапович избегает ее, равнодушен совсем к красоте ее.

Эта холодность еще пуще распяляет ее цыганскую кровь. Не глядит она ни на кого из княжеской дворни, а много среди этой дворни молодых парней, красивых и статных, хотя, конечно, не чета Якову Потаповичу.

Почти все они заглядывались на красавицу Танюшу.

Одного же из них, Григория Семенова, совсем извела ее красота дикая; сгинул парень, ни за что пропал, с год уже как в бегах числится.

Сидит Танюша у окна, вперила свои очи в мглу ночную, и все пережитое припоминается ей.

Слышатся ей сердечные, полные неподдельного отчаяния речи Григория Семенова.

Понимает она по себе теперь, что выстрадано было этим отвергнутым, любящим сердцем, что перечувствовал в те поры этот добрый молодец.

Красавец был он из себя: роста высокого, в плечах кося сажень, русые кудри кольцами вились, а с лица – кровь с молоком.

Служил он у князя Василия в доезжачих: не было никого удалей его на псовой охоте, любил его и дорожил им старый князь, не задумался бы дать согласие покрыть его любовь к сенной девушке честным венцом и наградил бы молодых по-княжески.

Да с сердцем своим ничего Танюша поделывать не могла. Не люб ей был красавец Григорий; нехотя приворожил к себе девушку чернокудрый Яков Потапович.

Памятен для нее день последней беседы ее с Григорием Семеновым. Загородил он ей дорогу в нижних сенях.

– Куда спешишь, красна девица, дай слово молвить недостойному.

Остановилась Танюша и оглядела его своим быстрым взглядом.

– Недосуг мне лясы точить попусту...

– А может и не попусту!.. – молвил Григорий Семенович.

– А какие такие дела завелись между нами? Что-то мне неведомо!..

– Уж будто и неведомо красной девице, что иссыхает и мрет от нее добрый молодец, как тень за нею бродит он, места себе не находит спокойного?..

– Нешто я причина тому, что дурь лезет в голову добрым молодцам?

– Не шути с огнем, Татьяна Веденеевна, обожжешься, неровен час!..

– Не пугливого я десятка, не застрашивай!.. И чего ты пристал ко мне? Сказано, недосуг мне языком чесать...

Хотела Танюша проскользнуть мимо него, да схватил ее Григорий Семенович за руку, как клещами сжал, индо она вскрикнула.

– Ошалел ты, что ли, парень, хватать так за руки?

– Ошалел и есть, совсем ты меня одурманила; коли больно сделал, прости Христа ради меня, окаянного, прости, но не уходи и выслушай...

Выпустил Григорий Семенович ее руку, и чудится и теперь Танюше вся боль душевная, с какою были им те слова сказаны.

Нечто вроде жалости к нему закралось в ее сердце девичье.

Согласилась она его выслушать.

Стал он говорить ей о любви своей, об испытываемой им муке мученической от ее невнимания.

Молчала она и ни слова ему не вымолвила.

– Скажи же напоследки мне: люб я тебе или не люб? – крикнул Григорий Семенович.

В голосе его послышалось отчаяние.

Не сказала она ему ничего в ответ.

– Коли люб, так мы с тобой честным пирком да и за свадебку; сейчас пойду к князю, до земли поклонюсь ему, не обездолит он своего холопа верного и заживем мы с тобой, моя

лапушка, голубком с голубкою; в глаза буду век я глядеть тебе, угадывать, что тебе пожелается, верным рабом твоим по гроб остануся, а не люб если...

Глаза его затуманились, а лицо стало мрачнее грозной тучи.

– Отвечай же, не томи меня!.. – наболевшим голосом выкрикнул он эти последние слова.

Совсем было склонилось к нему сердце Танюши, да образ Якова Потаповича мелькнул перед глазами.

– За привет, ласку и доброе слово благодарствую, Григорий Семенович, но не люб ты мне...

Исказилось все лицо доброго молодца, очи огнем загорелись.

– Так попомни ж ты меня, Татьяна Веденеевна! Добром не захотела в закон идти – силком тебя возьму к себе в полюбовницы... С зарей не видать мне уж дома княжеского... Убегу в леса дремучие... Можешь похвалиться, что сделала ты из меня душегуба, разбойника... Отольются мои слезы теперешние, и не столько тебе, как разлучнику Якову... Падут на тебя и на него мои грехи будущие... Прощай же, красна девица... Недолго тебе придется ожидать Григория Семенова... Скоро подаст он о себе весточку... А пока, вот тебе последний земной поклон от любящего.

Не успела Танюша опомниться, как Григорий Семенович поклонился ей в ноги и как шальной выбежал из сеней.

Звучат до сих пор в ушах Танюши эти речи недобрые, и хоть не робкою родилась она, все же страх берет порой за будущее.

Первое слово он выполнил: в ту же ночь сбежал со двора княжеского и пропал, как в воду канул, несмотря на все розыски. Не таков он, чтобы второго не выполнить, хотя с год не подал о себе весточки.

Невольно бьется ожиданием сердце Татьяны Веденеевны, – мрачные предчувствия неминуемой, близкой беды все чаще и чаще стали посещать ее за последнее время.

А тот, для кого она загубила доброго молодца, за кого терпит теперь муку нестерпимую, все дальше и дальше от нее сторонится, не хочет знать ее – холопку княжескую.

С злобною радостью встретила она весть, что он не велика птица, не боярин именитый, а невесть кто, без роду и племени.

Авось спесь-то теперь пособьется с него, забудет о княжне, – далека она от него, как звезда небесная, – и ее ласке девичьей, горячей ласке, обрадуется.

– Будет моим он, хоть после сгинуть мне пришлось бы, али и впрямь идти в полюбовницы к разбойнику...

Так раздумывала Танюша, сидя у окна в своей горенке.

Утренняя зоря занялась и застала ее за теми же думами.

Кипит ключом в ней кровь цыганская, как смола горячая.

– Только бы мне с ним встретиться...

Душно стало ей в горнице. Накинула она на себя душегрейку, спустилась вниз, в сад прошла отдышаться свежим воздухом.

Стук захлопнутой ею двери слышала из своей опочивальни не спавшая княжна Евпраксия.

Лютый мороз трещит на дворе, но не чувствует холода Татьяна Веденеевна. Бродит она бесцельно по саду, хрустит обледенелый снег под ее ногами, а то вдруг остановится как вкопанная, простоит на одном месте несколько минут, в даль воздушную взглядываясь и как бы к чему-то прислушиваясь.

Тишина кругом стоит мертвая, ветра нет, деревья не шелохнутся, все спит еще не только что в княжеских хоромах, но и в людских; собаки на дворе и те на заре прикорнули, за ночь умаявшись.

Вдруг доносится до Тани, бывшей уже в дальней части сада, шум чьих-то шагов, тяжелых, мужских, видимо, – снег хрустит сильнее, не то что под женской ногой.

Кто же это второй полуночник шатается?

Остановилась Танюша, прислушивается: все ближе, ближе, вот уж по саду шаги слышатся.

– Уж не Григорий ли вернулся ненароком? – мелькает в голове девушки мысль, не дававшая ей покоя за последние дни.

Сердце вдруг зачастило биением, ноги подкашиваются.

Вот мелькнула между деревьями стройная фигура молодецкая.

«И впрямь, кажись, вернулся, шальной! Бежать от него, схорониться», – было первую мыслью Танюши, но какая-то неведомая сила точно остановила ее на месте, а затем потянула навстречу раннему пришельцу.

Как пантера бросилась она по направлению все ближе и ближе слышавшихся шагов и как из земли выросла перед Яковом Потаповым.

ХIII. На берегу Москвы-реки

Яков Потапов и Танюша, оба пораженные неожиданностью встречи, несколько минут молча глядели друг на друга.

Первый опомнился Яков и сделал движение, чтобы обойти остановившуюся несимпатичную ему сенную девушку, но Татьяна Веденеевна, как бы только и подстерегавшая это движение, быстро подскочила почти к самому лицу молодого человека, уже снова наклоненному вниз, и загородила ему дорогу.

Он вскинул на нее глаза и обвел ее удивленно-вопросительным взглядом.

– Чего это ты, добрый молодец, от красной девки, как от серого волка, в сторону мечешься, ладком даже не поздоровавшись?.. И с чего, спросить надо, ты спесивишься? Али боишься, что голова твоя боярская от поклона отвалится?..

Последние слова Тани звучали явной насмешкой.

Яков Потапович понял это. Вся кровь бросилась ему в голову, он до боли закусил свою нижнюю губу, но сдержался и отвечал, не возвышая голоса:

– Не след бы тебе, девушка, с глаза на глаз, в пустынном месте, чуть не ночью, с молодым мужчиной речи заводить праздные. Иди-ка, куда шла, своей дорогою.

– Ишь, подумаешь, какой указчик нашелся!.. А может, мне с тобой одной дорогой и надобно!.. – рассмеялась вызывающим смехом Танюша.

– Что тебе, девушка, может быть от меня надобно – я не ведаю... – не глядя на нее, произнес Яков Потапович.

– Коли не ведаешь, так я тебе поведаю, все равно не миновать мне приходиться к какому ни на есть концу!..

Услыхав эти загадочные речи, он снова вскинул на Таню взгляд своих черных глаз.

В это время на дворе, прилегающем к саду, раздались чьи-то шаги, где-то в людской хлопнула дверь, – словом, княжеская дворня, видимо, стала просыпаться.

– Несподручно нам тут с тобою, Яков Потапович, беседовать: лишние глаза да уши, неровен час, подглядят да подслушают, – вполголоса заговорила Таня.

– Да разве и впрямь дело есть? – недоверчиво спросил он.

– Знамо дело, я не в других, ляды попусту точить не охотница, потому и спрашиваю, где бы схорониться нам?

«Не от княжны ли засылочка?» – мелькнуло в голове Якова Потаповича.

– Где же тут схоронишься? – заметил он вслух.

– Эх ты, молодец, видно, мне моим девичьим умом пораскинуть приходится! Пойдем-ка на берег, там шалаш рыбацкий порожняком стоит; мы о святках с княжной да с девушками над прорубью гадали, так я видела.

Таня пошла, не оглядываясь, к калитке, ведшей из княжеского сада на берег Москвы-реки.

Она была уверена, что Яков Потапович последует беспрекословно за ней, и не ошиблась.

Рассчитывала ли она на мужское любопытство вообще, недостаток, упорно скрываемый, но несомненно присущий почти всем мужчинам, хотя этими последними и приписывается исключительно женщинам, или же была на его предположение, что дело ее касается княжны Евпраксии, любимицей, почти подругой которой была она, чего не мог не знать Яков Потапович?

В последнем случае ее расчет оказался, как мы видели, еще более верным.

«Что ей-то может быть от меня надобно? Наверное о княжне речь поведет. Может, есть ко мне от нее какое поручение?» – думал он, шагая по хрупкому снегу за свое путеводительницей.

Он не избег вековой ошибки всех влюбленных – думать, что все и вся касается предмета их непрестанных помышлений, касается исполнения их затаенных, подчас сознаваемых неосуществимыми, но все же кажущихся исполнимыми желаний.

Они скоро достигли калитки и вышли на берег реки. Морозный ветер на открытом пространстве стал резче, но шедшая впереди, одетая налегке Танюша, казалось, не чувствовала его: лицо ее, которое она по временам оборачивала к Якову Потаповичу, пылало румянцем, глаза блестели какою-то роковою бесповоротною решимостью, которая прозвучала в тоне ее голоса при произнесении непонятных для Якова Потаповича слов: «Все равно не миновать мне приходиться к какому ни на есть концу».

Берег от сада к реке был крутой и неровный, но Таня шагала твердо и уверенно по протоптанной пешеходной тропинке, и Яков Потапович едва поспевал за нею, продолжая раздумывать, что поведает ему эта черномазая девушка от имени своей госпожи.

Вот и сплетенный из прутьев занесенный снегом рыбацкий шалаш, входное отверстие которого прикрыто прислоненным деревянным щитом, сбитым из нескольких досок.

Таня сильною рукою, но осторожно отодвинула этот щит, отодрав примерзшие к земле и к прутьям доски, и юркнула в образовавшийся оттого вход. Яков Потапович последовал за нею. В шалаше был полумрак. Свет проникал лишь в узкое верхнее дымовое отверстие, не сплошь засыпанное снегом, да в оставшуюся щель от полупритворенного щита. На земляном полу шалаша валялся большой деревянный чурбан...

– Садись, Яков Потапович, гость будешь, – указала на него с улыбкой Таня, а сама подошла к щиту и, ловко дернув его, закрыла им щель почти вплотную. Полумрак в шалаше еще более усилился. Якова Потаповича несколько смутила ее последняя выходка, тем более, что ему вспомнились не раз замеченные им прежде красноречивые, страстнее взгляды, видимо бросаемые по его адресу эту «черномазою», как всегда он про себя называл Татьяну.

– Ну, говори скорей, что надо, а то вдруг тебя еще княжна взыщется...

– Не беспокойся, не взыщется: мы, почитай, целую ноченьку с ней проговорили, так она теперь спит и сны видит радужные, только не тебя в них, добрый молодец!..

Яков Потапович вспыхнул, снова угадав в этих словах ядовитую обдуманную насмешку.

– Говори же, какое дело есть, а так мне бобы разводить с тобой не приходится, да и некогда.

– За каким же это ты делом ни свет ни заря по саду шатаешься? От какого такого дела я оторвала тебя?..

Таня насмешливо в упор посмотрела на него.

Он стоял, нервно кусая губы.

– Говорю тебе, садись, – продолжала она, – потому речь моя долга будет, а в ногах правды нет... Коли хочешь узнать все доподлинно, удели хоть полчасочка-то.

Яков Потапович пожал плечами и опустился на валявшийся чурбан.

«Коли почти целую ночь она с ней проговорила, значит о ней и речь будет», – пронеслось в его голове.

Таня между тем уселась рядом с ним и фамильярно положила ему руку на плечо.

Она как-то учащенно тяжело дышала; глаза ее горели в полумраке зеленым огнем.

Несколько минут она молчала, как бы собираясь с мыслями.

Якову Потаповичу, хотя он не сознался бы в этом и самому себе, стало почему-то почти жутко.

– Молод ты, Яков Потапович, но считают тебя все не по летам разумным, а потому понимаешь ты, чай, многое, что еще и не испытывал, поймешь, чай, и сердце девичье, когда первую страстную любовью оно распялется, когда притом не понимает или, быть может, не хочет понять той любви молодец, к которому несутся все помышления девушки... Понимаешь ли ты все это, Яков Потапович?

Она говорила быстро, каким-то подавленным полупшепотом, близко наклонясь к нему. Он ощущал ее огневое дыхание, чувствовал колыхание ее высокой груди.

Ему стало еще более жутко; он хотел отстраниться от нее, но она крепко держала его рукой за плечо.

– Понимаю, – прошептал он, невольно подчиняясь ее тону, – но о ком ты речь ведешь? Последние слова он произнес чуть слышно.

Она не слыхала их или быть может сделала вид, что не слышит, и продолжала:

– А коли понимаешь, так и оценишь всю силу любви такой, что заставляет девушку отбросить самый стыд свой в сторону и самой избраннику сердца своего первой на шею броситься...

Она стремительно обвила его шею своими руками, что было делом одного мгновения.

– Люблю тебя, Яшенька, желанный, ненаглядный мой, давно люблю, изныла по тебе вся моя душенька, бери меня, я твоя рабыня, верная до самой смерти!

Яков Потапович вскочил как ужаленный.

Танюша не отпустила своих рук и повисла у него на шее всю тяжестью своего тела, продолжая свой бессвязный шепот:

– Давно я ждала минуты этой, соколик мой ясный, ждала не дождалась... думала раздумывала, гадала да разгадывала...

– Прочь от меня!.. – хриплым голосом крикнул Яков Потапович и с силой старался оттолкнуть от себя висевшую на его груди девушку.

Это не удалось ему сразу, потому что она, как обезумевшая, все сильнее и сильнее прижималась к нему.

В шалаше произошла борьба.

Наконец, обессиленная Танюша выпустила шею Якова Потаповича и, упав к его ногам, обвила их своими руками.

– Не отгоняй меня, соколик мой, ответь хоть раз на мою ласку, девичью, горячую, а потом хоть убей меня, бесталанную.

– Поди, поди от меня; я думал, ты не от себя речи ведешь, непутевая!..

Он быстрым скачком вырвался из ее рук и, побежав к щиту, сильным ударом плеча вышиб его.

За ним раздался дикий хохот вскочившей на ноги Танюши.

– А ты думал, что я от княжны, твоей касаточки, верною холопкою с засылкою к тебе, боярину подзаборному?.. Не видать тебе княжны как ушей своих, не видать тебе и счастья!.. Как любить умела тебя, так сумею и ненавидеть, окаянного!.. Изведу тебя всеми правдами и неправдами, чарами и волхованиями, душу свою продам дьяволу, а изведу и тебя, и княжну-разлучницу! Праздник будет для меня, как упысь я кровью вашей алою!.. Что это Григорий Семенович не дает весточки? С ним бы это дело мы оборудовали!.. Не вернется он – найду другого молодца и куплю у него службу великую за красоту мою девичью!..

Яков Потапович не слыхал последних причитаний разъяренной Татьяны. Он как шальной пробежал через сад в свою горницу и долго не мог прийти в себя от всего происшедшего.

Через час времени Таня, как ни в чем не бывало, вошла в опочивальню княжны Евпраксии. На ее беззаботно улыбающемся лице не прочел бы никто следов пережитого волнения.

XIV. Начало опричнины

В то время, когда в доме князя Василия Прозоровского происходили описанные нами сцены, хотя и имеющие на первый взгляд чисто домашнее значение, но долженствующие отразиться не только на дальнейшей судьбе наших героев, но даже отчасти на грядущих исторических событиях, в других, более или менее отдаленных от Москвы городах и весях русских шла спешная, непонятная обывателям государственная работа.

Заглянем в один из таких удаленных от тогдашнего русского центра уголков, и именно в тот, где можем встретиться с знакомым нам беглым доезжачим князя Прозоровского – Григорием Семеновым.

Тишина рязанской окраины была внезапно нарушена приездом в Переяславль царского стольника Яковлева. Приезд этот был положительно неожиданностью для воеводы, которому было прислано строгое повеление исполнять все требования приезжего от двора.

Яковлев приказал доставить ему поименные росписи наличных служилых людей в этой окраине.

Приказ этот, с внушительной воеводской прибавкой: «мотчань во вред»⁵, полетел во все «остроги», как назывались в то время пограничные укрепления, и вызвал спешную доставку сообщений.

В воеводском доме в Переяславле с самого раннего утра, вследствие съезда гонцов, шла необычная суетня. Кроме привезших «росписи» и проходивших в дом по очереди, у ворот стояла многочисленная разношерстная толпа, состоявшая из городских обывателей соседних к городу сельчан и других разного рода и звания людей.

По слухам, циркулировавшим в народе, кроме набора служилых людей в какую-то особую царскую московскую службу, присланный от государя боярин принимал на ту же службу и охотников, не разбирая ни их происхождения, ни их прошлого.

Эта последняя весть достигла лесных чащ, многочисленных в то время на земле русской, где укрывались разного рода беглые «лихие люди», сплотившиеся в правильно организованные шайки и наводившие на мирных поселян и городских обывателей страх, не меньший, чем там и сям появлявшиеся с окраин татарские полчища.

В лесных чащах рязанской окраины нашла себе привольный притон многочисленная шайка «разбойных людей», есаулом которой был красавец Гришка Кудряш, прозванный так товарищами за густые кудри волос на красивой голове.

Этот-то Гришка, постоянно затаенною мыслью которого было уйти к Москве из этого медвежьего угла, куда занесла его судьба-своевольница, прослышав о приезде боярина, набравшего людей на московскую службу и не брезговавшего, как говорили, и «лихими людьми», подбил десятка два отборных молодцов из своей шайки и явился с ними в Переяславль.

Мы застаем кучку эту полуоборванцев, одетых во всевозможные, почти фантастические костюмы, но все один к одному рослых, плечистых и красивых молодцов, державшихся особняком от остальной толпы у ворот воеводского дома.

При первом взгляде на их предводителя, Гришку Кудряша, нельзя было не узнать в нем того беглого доезжачего князя Василия Прозоровского, Григория Семенова, отвергнутого поклонника черномазой Танюши, портрет которого был нами подробно нарисован в одной из предыдущих глав.

Каким образом попал он из Москвы в леса далекой рязанской окраины и сделался есаулом шайки лихих молодцов – описывать мы не станем, так как пересказ испытанных им в течение одного года после бегства его из княжеского дома злоключений мог бы доставить обшир-

⁵ Без замедления. Канцелярское выражение XVI ст.

ный материал для отдельного повествования. Скажем только, что скитальческая жизнь, сверх унесенного им из дома князя Василия озлобления против отвергнувшей его безграничную любовь Татьяны и разлучника Якова Потаповича, развила в его сердце непримиримую злобу ко всем, сравнительно счастливым, пользующимся жизненным покоем людям, особенно же к мелким и крупным представителям власти, травившим его, как гончие собаки красного зверя. Счастливо выбирался он из расставленных ими ему, как и другим подобным ему беглецам, тенет, но эта постоянная жизнь «на стороже» вконец, что называется, остервенила его.

Чаша горечи жизни этого человека, далеко не дурного по натуре своей, но лишь неудавшейся любовью сбитого с прямого пути, не бывшего в силах совладать с своим сердцем и заглушить в нем неудовлетворенную страсть, настолько переполнилась, что он не мог вспомнить без ненависти своего благодетеля, князя Василия, которому он был предан когда-то всей душой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.